ИЛЬЯ КАЛИНИН
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН
ВИКТОР — СПАСШИЙСЯ
ЧАСТЬ IV
МОРСКОЙ МЕРТВЕЦ
18+

Илья Калинин

Виктор - Спасшийся (Часть IV) Морской мертвец

https://litres.ru/74698854
SelfPub; 2026

Аннотация

Виктор Скорев бежит на запад, на край света, — на Западные острова, где торговый дом Ведмаров держит янтарную контору. Здесь пьют все, а того, кто не пьёт, сход называет зимним долгом морю. Здесь жгут ложные огни, чтобы корабли шли на камни, и добивают тех, кто выплыл.

Осенью на гряде разбивается корабль герцога. На остров выходят побочный сын его светлости и книжник, прочитавший железную лодку Виктора лучше, чем хотелось бы её хозяину. Зима запирает всех на одном камне посреди моря: голод, виселица на китовых воротах, котлы, в которых варят не баранину, и байка о морском мертвеце, которому несут дары.

Весной у Виктора одна дорога — корабль герцога, где он плывёт бритым немым матросом под чужим именем. Пятьдесят три человека, сорок дней пути. Штиль, бунт, шторм. Он поворачивает руль туда, где на картах нет ничего, и не знает, что книжник посчитал этот поворот раньше него.

Четвёртая книга цикла «Виктор — Спасшийся».

Содержание

Глава 1. Серая гусыня 4
Глава 2. Туман 16
Глава 3. Янтарная контора 28
Глава 4. Береговое право 39
Глава 5. Неклюд 50
Глава 6. Зимний долг 61
Глава 7. Торф 72
Глава 8. Птичья скала 83
Конец ознакомительного фрагмента. 87

Илья Калинин
Виктор - Спасшийся (Часть IV) Морской мертвец

Глава 1. Серая гусыня

На третий день кончилась земля.

Она кончалась медленно, двое суток: сначала берег стал синей полосой, потом серой ниткой, потом нитка пропала, но над тем местом, где она была, ещё долго стояли облака — те, что всегда стоят над сушей и никогда над водой. На третье утро не стало и облаков. Я вышел на палубу из-под парусины, где спал у мачты, и увидел то, чего не видел ни разу за все годы на этой земле: воду во все стороны, до самого края, ровную, серую, тяжёлую, и над ней — небо, такое же серое, и между ними — ничего.

Шесть лет назад я падал к этой земле из пустоты, где не было ни верха, ни низа. Здесь хотя бы низ был.

Серая гусыня шла на запад тяжело, переваливаясь с волны на волну, как гусыня, в честь которой её назвали, переваливается по двору. Брюхо у неё было полное: соль, железо в крицах, зерно в мешках, бочки с маслом, — всё, чего нет на островах, куда она ходит раз в год. Назад, говорили матросы,

она повезёт янтарь, шерсть, вяленую рыбу и тех, кто не прижился. Таких бывает больше, чем тех, кто плывёт туда.

Ночью, когда небо расчистилось, я лёг на спину у мачты и смотрел на звёзды.

Это было моё ремесло. Тридцать лет я водил корабли между звёздами — не такими, а настоящими, далёкими, которые на этой земле никто не видит, потому что смотрит на них снизу и называет иначе. Шесть лет я учил это небо, как учил язык: по одной звезде в ночь, без слов, про себя. Я знал теперь, какая из них стоит над полуночью и не движется, какие три идут по кругу у неё за спиной, где встаёт летом красная, которую здесь зовут Волчьим глазом. Я лежал и проверял, куда идёт корабль. Корабль шёл на закат, чуть забирая к полуночи. Корабельщик вёл хорошо.

Я подумал, что за шесть лет ни разу не сказал вслух ни одного слова о своём ремесле. Это было единственное, что я умел по-настоящему.

Корабельщик был широкий, седой, с медной бляхой на груди — знаком того, что ходит на острова по договору с советом рыбачьего порта. Звали его все одинаково: хозяин. Он стоял у руля днём сам, ночью — его старший, и говорил мало, а пил много, и от этого делался не громче, а тише. Матросов было человек пятнадцать — жилистых, тёмных от ветра, с руками в смоле. Попутчиков — столько же.

Я их пересчитал в первый же день. По привычке.

Три купца — с мешками и ларцами, при слугах, — плы-

ли за янтарём. Двое были из рыбачьего порта, третий — из герцоговой гавани, толстый, в лисьей шапке посреди лета. При толстом ехал молодой писарёнок, худой, вертлявый, с кожаной сумкой на ремне через грудь. Сумка была запечатана свинцовой пломбой, и на пломбе стоял знак, который я знал лучше, чем своё нынешнее имя: круг и три черты.

Дом Ведмаров.

Семья с детьми плыла на острова жить. Отец — кожевник, разорённый бароновыми поборами, — сказал корабельщику, что на островах нет ни земли, ни леса, ни барона, а барона нет — значит, и жить можно. Жена молчала. Детей было трое. Младшая — рыжая, лет пяти, та, что схватила меня за запястье на качке, когда мы выходили из бухты, — теперь ходила за мной по палубе, держась на два шага, и смотрела. Я на неё не смотрел.

Два монаха в серых рясах плыли нести свою веру тем, у кого её нет. Островитяне, сказали они, поклоняются морю.

И одинокие. Парень с котомкой, беглый, судя по тому, как вздрагивал, когда к нему подходили со спины. Баба в платке, которая всю дорогу шила. Старик с посохом. И ещё один старик, совсем дряхлый, которого на причале вели под руки двое сыновей и которого сыновья посадили на корабль, а сами остались на берегу.

Старик с посохом заговорил со мной на второй день.

Он был высокий, костлявый, с лицом, выдубленным ветром до цвета кожаного ремня, с белыми бровями и с выцвет-

шими, светлыми, почти белыми глазами. На корабле он ходил так, как не ходил никто из попутчиков: не держась, не глядя под ноги, — палуба была ему твёрже земли.

— Ты не из наших, отец, — сказал он, садясь рядом со мной у мачты. Говорил он по-материковому хорошо, только слова ставил чуть иначе, и звуки у него были твёрже. — И не из купцов. На острова зачем?

— Дело, — сказал я.

— Дело. — Он кивнул. — У всех дело. Я тридцать лет ходил на чужих кораблях. Гребцом, матросом, кормщиком. Теперь домой плыву. Помирать. На острове помирать хорошо: земля там мелкая, а торф глубокий, лежишь целый, как живой.

Его звали Гест. Это на островном, сказал он, значит гость.

Он говорил со мной все следующие дни — потому что я слушал и не перебивал, а старики любят тех, кто не перебивает. Я узнал от него про острова больше, чем узнал бы за месяц на берегу.

На островах нет леса. Ни одного дерева — только кусты по колено в ложбинах, где нет ветра. Дома из камня и дёрна, крыши — на китовых рёбрах. Дерево на островах — то, что приносит море: плавник, обломки, бочки. Его берегут, как серебро. Жгут торф. Едят баранину, рыбу, птицу, тюленя. Пьют брагу из ячменя — все, с утра до ночи, и мужчины, и бабы, и дети, — потому что вода на островах солоноватая, а зима долгая и тёмная, и без браги зимой люди сходят с ума.

— А ты, я гляжу, не пьёшь, — сказал Гест на третий день. Он смотрел на мой мех, из которого я пил свою воду, набранную в порту. — Совсем?

— Совсем.

— Зарок?

— Зарок.

Он долго молчал.

— На островах трудно тебе будет, — сказал он наконец. — У нас кто не пьёт, тот или больной, или чужой. Больных у нас жалеют мало. А чужих...

Он не договорил.

— Что чужих?

— Чужих у нас любят, — сказал Гест и усмехнулся одним краем рта. — Особенно к зиме.

Больше он про это не сказал ничего, хоть я и спрашивал. Рассказывал про другое. Про то, что острова поделены между родами, и у каждого рода — свой кусок берега. Что всё, что море выбросит на этот берег, — бочка ли, доска ли, кит ли, корабль ли, — принадлежит роду. Это у них называется береговое право, и оно старше всех других прав.

— А люди? — спросил я. — Если море выбросит человека?

— Человек — тоже что море выбросило, — сказал Гест просто.

— И что с ним делают?

— Смотря какой. — Гест пожал костлявыми плечами. —

Крепкого — в работу, на цепь, торф резать. Хилого — камнем, чтоб не мучился и хлеба не ел. Море дало — род взял. Так всегда было. — Он помолчал. — А кто сам приплыл, своей волей, за плату, вот как ты, — тот гость. Гостя не трогают. Гостя кормят.

— До каких пор?

Гест посмотрел на меня долго своими белыми глазами.

— До зимы, — сказал он.

Писарёнок дома Ведмаров пил с корабельщиком.

Каждый вечер, когда темнело и корабль шёл ровно, корабельщик звал к себе на корму купцов — пить и говорить, — и толстый купец в лисьей шапке приводил с собой своего писарёнка. Писарёнок пил больше всех и говорил больше всех. Он был молодой, лет двадцати, и ему очень хотелось, чтобы его считали важным.

Он считал себя важным из-за сумки.

— Почта дома, — говорил он, хлопая по сумке ладонью. — Для янтарной конторы. Всё, что дом за год написал фактору. Цены, долги, указы. И розыск.

— Какой розыск? — спрашивал корабельщик лениво. Ему было всё равно.

— Как какой! Тот самый. Старик-счётчик. Слыхали? Северянин, не пьёт ни капли, не даёт себя трогать. Ходил по чужому имени ревизором дома — да не простым ревизором, а племянником главы северной конторы! И главу той конторы, старого Ведмара, — порешил. В устье. А потом ушёл.

— Писарёнок понизил голос, хотя слышали его все. — И не только его. Говорят, он колдун. Где ходит — там мрут без ран.

— Где ж его искать, на островах, что ли? — засмеялся корабельщик.

— Розыск рассылают во все конторы, — важно сказал писарёнок. — Так велено. Хоть на край света. Хоть на острова. На острова-то он, конечно, не поплывёт: кто ж на острова плывёт? Туда только дураки да нищие.

Купцы засмеялись. Кожевник, сидевший с семьёй у борта, — тоже.

Писарёнок поискал глазами, кто ещё засмеётся, — и нашёл меня. Я сидел у мачты, в десяти шагах, и пил из своего меха.

— А ты, отец? — крикнул он. — Не пьёшь? Иди к нам, хозяин угощает!

— Не пью, — сказал я.

— Совсем?

— Совсем.

Писарёнок засмеялся — громко, весело, пьяно — и хлопнул себя по сумке.

— Гляди-ка, — сказал он корабельщику. — Как тот, из розыска!

Засмеялись все. Корабельщик тоже. Я не засмеялся. Гест, сидевший рядом со мной, не засмеялся тоже, и я почувствовал, как он на меня посмотрел — не повернув головы, краем

светлого глаза.

Ночью я лежал у мачты и считал.

На островах нет ни суда, ни стражи, ни дома — есть только контора дома, янтарная, и фактор при ней. Корабль уйдёт назад через две-три недели, и до следующего лета с островов не уйдёт никто. Год. Целый год на камне посреди моря, где каждый знает каждого, где не пить — примета, где чужак виден, как костёр в ночи. И в этот год фактор будет читать розыск, который везёт пьяный писарёнок в запечатанной сумке.

Сумка не должна была доплыть.

На четвёртый день умер дряхлый старик.

Он умер ночью, тихо, у борта, на своём узле, и утром его нашли сидящим, с открытым ртом и с открытыми глазами, и мухи уже ползали ему по губам. Никто не удивился. Его зашили в старую парусину, положили в ноги камень из балласта, монахи прочли над ним, что положено по их вере, и двое матросов подняли его и перевалили за борт. Вода приняла его без всплеска, как принимает всё. Корабль не замедлил хода.

— Море берёт своих, — сказал Гест, глядя на то место, где ушёл мешок. — Даром не берёт. Берёт в долг. Потом отдаёт.

— Что отдаёт?

— Всякое, — сказал Гест. — Янтарь. Плавник. Корабли.

Я спросил, кому оно отдаёт. Он посмотрел на меня своими белыми глазами и сказал:

— Берегу.

На шестую ночь пришёл шторм.

Он пришёл с полуночи, без предупреждения, — сначала стих ветер, потом небо на западе стало чёрным, как вода, и звёзды на нём погасли одна за другой, как свечи, когда их гасят пальцами, — и потом ударило. Корабль положило набок. Мачта застонала. Матросы закричали, полезли на реи убирать паруса, корабельщик встал к рулю сам и стоял всю ночь. Волны шли через борт. Палубу заливало по щиколотку, по колено. Попутчики сбились у мачты, держались за снасти, друг за друга, за что придётся. Монахи молились вслух. Кожевник держал детей.

Я держался за мачту и смотрел, кто где.

Кнопку я нажал, когда палуба первый раз ушла из-под ног. На корабле в шторм каждый держится за то, что ближе. Чаще всего — за соседа. Я привязал себя к мачте концом верёвки, а руки держал при себе.

Писарёнка вывернуло через час. Он был пьян с вечера — корабельщик угощал, — и шторм вывернул из него всё, что он выпил. Он полез к борту, к подветренной стороне, через всю палубу, цепляясь за снасти, с сумкой на груди, — и повис на борту, и его рвало в чёрную воду, а волны били его по лицу.

Я отвязался от мачты и пошёл к нему. По палубе, держась за верёвки, вдоль борта.

Никто на меня не смотрел. В шторм никто ни на кого не

смотрит.

Я встал рядом с ним у борта и взял его за ворот. Сзади. Как берут того, кого рвёт за борт в шторм, — чтобы не вывалился. Так сделал бы каждый.

Сто первый.

Его тело обмякло у меня в руке. Голова упала на борт. Следующая волна ударила в нас обоих, и я разжал руку.

Его смыло. Вместе с сумкой. Я видел, как его белое лицо мелькнуло в чёрной воде у борта, раз, другой, — и пропало. Ремень сумки был у него через грудь. Свинцовая пломба тянула вниз.

Я вернулся к мачте, привязался и погасил кольцо. Проверил четыре раза.

Сумка лежала теперь на дне, вместе с розыском, с приметами, со словами не пьёт и не даёт себя трогать. На островах их не прочтёт никто. Фактор получит от купца в лисьей шапке одно: море взяло. Море на островах берёт часто, и с морем не спорят. Я сидел у мачты, мокрый до костей, и думал, что выиграл год. Рядом, у мачты, мокрая, бледная, сидела рыжая девочка, вцепившись в отцовский рукав, и смотрела на меня.

Шторм стих к утру.

Утром корабельщик, серый от бессонной ночи, обошёл палубу и пересчитал людей. Матросы — все. Попутчики — все, кроме одного.

— Писарёнок где? — спросил толстый купец в лисьей шапке, озираясь. — Писарёнок мой?

Никто не знал. Его искали в трюме, под парусиной, в канатах. Потом один из матросов сказал, что видел ночью, как кто-то висел на подветренном борту и блевал.

— Смыло, — сказал корабельщик. — Пьяный был.

Купец заохал — не о писарёнке, о почте.

— Почта! Почта дома была при нём! Сумка! Мне велено доставить! Что я фактору скажу?

Корабельщик пожал плечами.

— Скажешь, море взяло, — сказал он. — На островах поймут. — Он помолчал, вытирая мокрое лицо, и добавил, будто между прочим: — Да не тужи. Главное письмо дома не в сумке было. Главное — у меня.

Купец уставился на него.

— Письмо из устья, — сказал корабельщик. — От новой конторы. Его мне в порту, в последнюю ночь, сам человек дома принёс — с почтой из устья пришло. Велел отдать фактору лично в руки и никому больше. Лежит у меня в сундуке, под замком.

Он похлопал себя по груди, по тому месту, где под рубахой висело что-то на шнурке.

Сундук корабельщика стоял на корме, под его лежанкой, — дубовый, окованный железом по углам, с замком размером с ладонь. Ключ от замка висел у него на шее. Он не снимал его ни днём, ни ночью, ни в шторм. Так сказал мне Гест, когда я спросил, что за сундук. Гест знал про корабли всё.

— А что в нём, в том письме? — спросил купец.

— Не моё дело, — сказал корабельщик. — Печать — устья. Круг и три черты. Как на твоей пропавшей сумке.

Глава 2. Туман

Острова вышли из тумана на десятый день, к полудню, и вышли так, будто туман их родил.

Сначала был звук. Корабль шёл в белом, сыром, плотном, как овечья шерсть, тумане, и матросы стояли у бортов и слушали, а корабельщик стоял у руля и тоже слушал, — и я слушал вместе с ними, не понимая, что мы слушаем. Потом услышал. Далеко впереди, справа, что-то ревело — ровно, глухо, не переставая, как ревёт большой зверь, которому некуда торопиться. Прибой. Море било в камень.

Потом — птицы. Тысячи птиц, может быть, десятки тысяч, — крик стоял над водой, как стоит над торгом гул, только злее, выше, пронзительнее. Потом — запах. Гниющие водоросли, рыба, птичий помёт, дым — горький, бурый, незнакомый. Торф, сказал Гест.

И потом туман разошёлся, и я увидел острова.

Чёрные скалы поднимались прямо из воды — отвесно, на высоту, на какую и смотреть было больно, задирая голову, — и по их уступам, сверху донизу, белело. Птицы. Они сидели на каждом уступе, на каждом выступе камня, и камень от них был белый, как от снега. Под скалами кипела вода. Пена поднималась и падала, поднималась и падала, и в пене торчали из воды чёрные зубья камней, и на одном из них — я видел — лежали рёбра корабля. Старые, серые, голые, как

рёбра кита.

— Птичья скала, — сказал Гест. Он стоял у борта рядом со мной, и лицо у него было такое, какого я не видел у него за десять дней: неподвижное. — Дальше — Вороний залив. Дом.

Корабль обогнул скалу и вошёл в залив.

Залив был узкий, длинный, закрытый с двух сторон низкими каменистыми мысами, — и вода в нём сразу стала тихой и чёрной, как в колодце. В глубине залива, на пологом склоне, стоял посёлок. Я пересчитал дома: тридцать два. Длинные, низкие, будто вросшие в землю, — стены из камня, сложенного без раствора, поверх камня — пласты дёрна, и на крышах тоже дёрн, зелёный, с травой, и по траве на крышах ходили овцы. Из каждой крыши шёл бурый дым. Ни одного дерева. Ни кустика. Камень, трава, дёрн, овцы, дым.

Над посёлком, на самом верху склона, стоял дом, не похожий на другие. Каменный, двухжильный, с узкими окнами, с крышей из тёмных досок, положенных на огромные белые дуги. Китовые рёбра, понял я. Над дверью висела доска, и на доске был нарисован знак. Круг и три черты.

Янтарная контора дома Ведмаров.

Нас ждали. На берегу у причала — низкого, каменного, сложенного из валунов, — стояла толпа, человек сто: мужики в овчинах и в тюленьих куртках мехом внутрь, с длинными волосами, заплетёнными сзади, с бородами, перевязанными шнурком; бабы в тёмных платках, тоже рослые, широ-

кие; дети, собаки. Все кричали. Язык у них был — я слушал — не похожий ни на один, что я знал: короткие слова, твёрдые, будто их не говорили, а рубили топором; много звуков в горле; ударение на первом слоге, всегда.

Я не понимал ничего. Ни одного слова.

Шесть лет назад я так же стоял немым среди чужих и учил первое слово. Теперь мне было пятьдесят шесть, и учить надо было снова.

Корабль ошвартовали к причалу. Сходню бросили. И первое, что сделали островитяне, когда на причал сошёл первый попутчик — толстый купец в лисьей шапке, — они поднесли ему рог.

Большой, бычий, оправленный медью по краю, полный до краёв мутной, пенной, кислой на запах брагой. Подносил рог старик — седой, могучий, в медвежьей шкуре поверх рубахи, с бородой до пояса, с руками, как вёсла. Купец взял рог двумя руками, отпил, сколько смог, закашлялся, — толпа засмеялась, закричала, — и вернул рог. Старик в медвежьей шкуре кивнул и пропустил его.

Так они встречали каждого. Второго купца. Третьего. Кожевника. Его жену. Монахов — монахи пили, морщась. Беглого парня. Бабу с шитьём. Каждому — рог, каждый пьёт, толпа кричит.

— Гостевой рог, — сказал Гест тихо, стоя рядом со мной на сходне. — Кто сошёл на берег и выпил — гость. Гостя не трогают. Кто не выпил...

Он не договорил. Подошла моя очередь.

Старик в медвежьей шкуре протянул мне рог. Я смотрел на брагу, на пену, на мокрый медный край. Толпа ждала. Кругом было тихо.

Я покачал головой.

Старик не понял. Он протянул рог ближе, к самому моему лицу, и сказал что-то — громко, весело, рубленым островным словом. Я снова покачал головой. И отступил на шаг.

Толпа загудела. Кто-то засмеялся, кто-то закричал. Старик в медвежьей шкуре перестал улыбаться. Он смотрел на меня из-под седых бровей маленькими, светлыми, злыми глазами.

Тогда Гест шагнул вперёд, встал между нами и заговорил с ним по-островному — быстро, долго, показывая на меня, на моё горло, на небо. Я разобрал одно слово, которое он повторил несколько раз, — и потом узнал, что значило это слово: зарок. Старик в медвежьей шкуре слушал, хмурясь. Потом пожал могучими плечами, сказал что-то короткое — толпа захохотала, — сам отпил из рога, долго, булькая, утёр бороду и махнул мне рукой: проходи.

— Что он сказал? — спросил я Геста, когда мы сошли на камни.

— Сказал: море за тебя выпьет, — ответил Гест. — Это Хёрд. Глава рода. Весь этот берег — его. И мой, по матери. — Он помолчал. — Шутка у нас такая. Море пьёт за тех, кто не пьёт сам.

— А что в ней смешного?

Гест посмотрел на меня белыми глазами.

— Ничего, — сказал он. И ушёл в толпу, к своим, не простившись.

Больше я его в тот день не видел.

На меня смотрели. Не все — но многие. Бабы у причала шептались и показывали на меня подбородками. Мальчишки бегали за мной на десять шагов и кричали что-то, и смеялись, и один кинул в меня рыбьей головой. Мужики смотрели молча. Я понял по их лицам то, что сказал Гест на корабле: кто не пьёт, тот больной или чужой. Я был и тем, и другим.

Корабельщик сошёл последним. В руках у него был сундук — не весь, а небольшой ларец из сундука, тоже окованный, — и он нёс его сам, не доверяя матросам, вверх по склону, к каменному дому с китовыми рёбрами. Навстречу ему из дома вышел человек.

Я смотрел на них снизу, с причала.

Человек был плотный, широкий в поясе, лет пятидесяти, гладко выбритый — единственный выбритый на всём берегу, — с тяжёлым красным лицом и с весёлыми светлыми глазами. На нём был суконный материковый кафтан, а под кафтаном — островная тюленья куртка мехом внутрь. Он встретил корабельщика на крыльце, обнял, как старого друга, взял у него ларец, открыл тут же, на крыльце, — и достал письмо. Сломал печать. Начал читать, стоя, шевеля губами.

Толстый купец в лисьей шапке подбежал к нему, кланяясь, заговорил, размахивая руками, — про почту, про писарёнка, про шторм. Человек в кафтане слушал его, не отрываясь от письма, и кивал. Потом поднял голову, сказал купцу что-то коротко, — купец закланялся ещё ниже, — и снова стал читать.

Фактор. Янтарный фактор дома Ведмаров на Западных островах.

Он дочитал письмо, сложил его и поднял глаза. Посмотрел вниз, на причал, на толпу, на попутчиков, на корабль. Взгляд его шёл медленно, по одному, как идёт взгляд, когда считают. На мне он не задержался. Скользнул и пошёл дальше.

Потом он ушёл в дом.

Мне нужно было где-то спать. Попутчики, плывшие на острова жить, — кожевник с семьёй, монахи, беглый парень, — пошли к Хёрду просить угла: на островах всякий угол — чей-то, и всякий чужак живёт у рода, который его пустил. Я пошёл с ними. Хёрд сидел в своём доме, длинном, как корабль, у очага посередине, на лавке, покрытой тюленьими шкурами, и пил из того же рога. Вокруг сидели его люди. Его сыновья — я насчитал шестерых, все рослые, светлые, похожие на него, как волчата на волка.

Кожевник получил полуразваленную землянку на краю посёлка — за серебро. Монахи — угол в овчарне, за серебро. Беглый парень — место у очага за работу. Мне, немому, Хёрд, посмеявшись, дал лодочный сарай у причала. За се-

ребро. Я отдал, не торгуясь.

Лодочный сарай был длинный, низкий, каменный, с дёрновой крышей, с широкой дверью на воду. Внутри, на катках, стояли две большие лодки, вверх днищем, а вдоль стен — вёсла, сети, бочки, мотки верёвок, связки сушёной рыбы. Пахло смолой, морем, рыбой. Я лёг в дальнем углу, на старых сетях, под своим кафтаном.

Кнопку нажал.

Я лежал и слушал остров. За стеной ревел прибой у Птичьей скалы — ровно, без отдыха, как будто там, за мысом, кто-то огромный дышал во сне. Кричали птицы — даже ночью, реже, но кричали. Блеяли овцы на крышах. А из длинного дома Хёрда, вверх по склону, неслось пение — пьяное, хоровое, тяжёлое, на один и тот же лад, — и стук рогов о стол, и хохот. Там пили за корабль. Там пили, как сказал Гест, с утра до ночи.

Я думал о том, что на этом камне мне жить год. И что первый день кончился так, как кончаются все мои первые дни: меня запомнили.

Он пришёл за полночь.

Я услышал его раньше, чем увидел: скрип двери, неровные шаги, сопение, бормотание. Пьяный. От него несло брагой на весь сарай. Он шёл в темноте, натыкаясь на бочки, ругаясь вполголоса по-островному, — шёл прямо ко мне, в угол, будто знал, где я лежу.

Он знал. Он видел днём, как я отдал Хёрду серебро.

Немой старик с корабля, с кошелём, один, в сарае у воды. Ему не нужно было ни ножа, ни топора. Ему нужно было только взять.

Он нашёл меня ощупью, в темноте. Наклонился. Руки его зашарили по кафтану — по груди, по поясу, туда, где серебро.

Сто второй.

Он лёг на меня, тяжёлый, мягкий, пахнущий брагой и рыбой. Я вылез из-под него.

Потом я сидел в темноте и думал, что с ним делать. Сарай был у самой воды. Дверь — на воду. Пьяный, который ночью пошёл в лодочный сарай, — а утром его нашли в воде у причала. Пьяные на островах тонут, сказал Гест. Часто.

Я выволок его к двери за ворот, на каменный спуск, к воде, и столкнул. Вода в заливе была чёрная, тихая, глубокая у самого берега. Он ушёл под неё и всплыл лицом вниз, и его медленно понесло к сваям причала. Там и прибило.

Кольцо я погасил на рассвете и проверил четыре раза.

Его нашли утром. Мальчишки, бегавшие к причалу смотреть на корабль, увидели тело у сваи, закричали; сбежались люди, вытащили, положили на камни. Молодой, лет двадцати пяти, рыжебородый. Кто-то из Хёрдовых. Бабы заголосили. Мужики постояли, поговорили, — я стоял в стороне, у своего сарая, и смотрел, — и я видел, как один из них показал рукой на рот, сделал вид, что пьёт из рога, и махнул рукой на воду. Пьяный. Утонул. Все закивали.

Только Хёрд, пришедший последним, долго стоял над телом. Потом поднял голову и посмотрел на мой сарай. На меня.

Я смотрел в землю.

Через час ко мне пришёл мальчишка — лет десяти, вихрастый, босой, — и поманил рукой. Показал вверх, на каменный дом с китовыми рёбрами. Я пошёл за ним.

Фактор сидел за столом в большой горнице на втором жилье. Стол был завален книгами, бумагами, мешочками, на полу стояли корзины с янтарём — жёлтым, тёмным, мутным, прозрачным, кусками от горошины до кулака, — и янтарём пахло на всю горницу: сладко, смолисто, тепло. В окне был виден залив, корабль у причала и люди у сваи, ещё не разошедшиеся.

Мальчишку он отослал. Дверь закрыл сам.

— Садись, — сказал он на материковом. Голос был весёлый, густой. — Ты ведь понимаешь по-нашему. Ты не немой. На корабле ты говорил — купец сказал. Ты по-островному не говоришь, это да. Садись, не бойся.

Я сел. На лавку у двери. Он посмотрел на расстояние между нами — от стола до лавки, — и улыбнулся.

— Ратмир, — сказал он. — Фактор дома. Шестой год на этом камне.

Он взял со стола письмо — то, что утром достал из ларца корабельщика. Развернул.

— Вот, послушай, — сказал он. — Это мне из устья. От

новой северной конторы. Разослано во все конторы дома, даже сюда, на край света. Розыск. — Он стал читать, водя пальцем по строкам, медленно, с удовольствием. — Старик-счётчик, северянин. Лет пятидесяти пяти. Седой, борода короткая. Говорит чисто, с выговором. Не пьёт ни капли — ни вина, ни браги, ни пива. Не даёт себя касаться. Руки не подаёт. Ходил ревизором дома под чужим именем, под именем племянника главы северной конторы. Главу северной конторы убил. Опасен. Колдун ли — неведомо. Где ходит, там умирают без ран. Взять, если удастся. Живым.

Он опустил письмо.

— Купец сказал, писарёнка его смыло в шторм. С почтой. А рядом, говорят, кто-то стоял у борта — не разглядели, кто. — Ратмир помолчал. — А вчера на причале ты не выпил из гостевого рога. Шесть лет я тут, и ни разу не видел, чтоб кто-нибудь не выпил. Даже монахи пьют. А сегодня утром у сваи, у твоего сарая, лежит Хёрдов племянник, целый, без раны. Пьяный, говорят. Утонул.

Он сложил письмо пополам, потом ещё раз, и сунул за пазуху.

Я молчал. Я считал, сколько шагов до него, и сколько до двери, и сколько людей внизу, в доме, и знает ли кто-нибудь ещё.

Ратмир смотрел на меня весёлыми светлыми глазами. Потом засмеялся — тихо, довольно, как смеются хорошей сделке.

— Не бойся, — сказал он. — Я тебя не выдам. Кому? Здесь нет ни суда, ни стражи, ни барона, ни дома. Здесь есть Хёрд, его род и береговое право. И я. — Он развёл руками над столом, над книгами, над корзинами янтаря. — А мне нужен счётчик. Хороший. Такой, что считает быстрее, чем пишет.

Он подвинул ко мне по столу толстую книгу в коже, раскрытую. Столбцы, исписанные кривой, торопливой, неряшливой рукой, с помарками, с подтёртыми местами.

— Тебя мне море принесло, — сказал Ратмир.

Он откинулся на лавке и сложил руки на животе.

— Жить будешь здесь, в конторе. Над амбаром есть каморка, с дверью и с засовом, — тебе ведь засов нужен, я так думаю. Есть будешь, что сам сваришь, — тебе ведь из чужих рук нельзя. Считать будешь мне. Книги дома за шесть лет. Все. — Он постучал пальцем по раскрытой книге. — К лету.

— Почему к лету?

— Потому что летом придёт корабль, — сказал Ратмир весело. — А до лета отсюда не уйдёт никто. Ни ты, ни я, ни Хёрд. Серая гусыня уйдёт через три недели, и до следующего лета этот камень — наш. Ты понял?

Я понял.

— А до зимы, — добавил Ратмир, поднимаясь, — тебя тут никто не тронет. Ты гость. Хоть рога и не пил. — Он подмигнул. — Гостей на островах кормят.

Он сказал это так же, как сказал Гест на корабле. Слово в

слово. И так же не договорил.

Глава 3. Янтарная контора

Каморка над амбаром была шесть шагов в длину и четыре в ширину, с узким окном на залив, с дощатым полом — доски на островах дороже серебра, а здесь их был целый пол, — с лавкой, с очагом в углу и с дверью на крепком засове. Засов был новый. Ратмир, видно, поставил его вчера, когда решил, что я буду жить здесь.

Я задвинул засов, сел на лавку и проверил кольцо. Погашено. Потом спустился в контору.

Контора дома Ведмаров на Западных островах занимала весь дом. Внизу был амбар — длинный, низкий, каменный, без окон, с одной дверью, запиравшейся на два замка. Вдоль стен амбара стояли корзины и лари, а в них лежал янтарь. Его разбирали по сортам, и сортов было семь: прозрачный медовый, прозрачный красный, мутный жёлтый, костяной белый, с мухой внутри, с травинкой внутри и крошка. Мухи и травинки ценились дороже всего: на юге, сказал Ратмир, за кусок с мухой богатые бабы платят столько, сколько за коня. У двери стояли весы — большие, медные, с гирями дома, клеймёными кругом и тремя чертами. Под потолком, на балках, висели связки сушёной рыбы, а в конце амбара была лестница на чердак, где хранили мешки с ячменём, — крутая, узкая, из плавника.

Наверху, в горнице, где Ратмир принимал меня в первый

день, была счётная. Там стояли книги.

Книг было шесть — по одной на год, — толстые, в коже, с медными застёжками. Ратмир положил их передо мной на стол стопкой, сел напротив, налил себе браги из кувшина и сказал весело:

— Вот. Шесть лет. Читай.

Я читал три дня.

Я видел такие книги дважды. Первый раз — у Ставра во втором городе, где утечка была записана честно, с законным объяснением всякий раз: просыпь, усушка, дожди. Второй раз — у Будимира в пушном городе, где колёса были честные, а ложь сидела в сцепке. Здесь было то же самое. Только грубее, ленивее, наглее, — так, как ворует человек, который давно не боится, что кто-нибудь придёт проверять.

Роды приносили янтарь после бурь. Ратмир взвешивал его на весах дома и платил — серебром дома, железом дома, ячменём дома. Записывал в книгу: от такого-то рода, столько-то веса, такого-то сорта, заплачено столько-то. А летом, когда приходил корабль, отправлял янтарь дому, на восток, и писал в книге, сколько отправил.

Принятого всегда было больше, чем отправленного. Разница уходила в крошку.

Крошка — так назывался янтарь, который при разборке, при сушке, при пересыпании ломался и крошился в мелочь, годную только на курево да на лекарства. Крошку дом брал по цене соломы. Крошку списывали. И у Ратмира каждый

год в крошку уходила почти пятая часть всего, что приносили роды. Пятая часть — медовый, красный, с мухами.

Куда уходила крошка на самом деле, я понял на третий день, когда нашёл в конце каждой книги, на последних листах, короткие записи другой рукой — мелкой, торопливой, без числа. Корабельщику — столько-то. Купцу из герцоговой гавани — столько-то. Записи эти не сходились ни с чем. Это и были настоящие счета Ратмира. Крошку он продавал мимо дома — тем же корабельщикам, тем же купцам, — а деньги брал себе.

И ещё одна запись повторялась в каждой книге, раз в год, по осени, в общем столбце, среди трат конторы. Хёрду — за огни. Три мешка ячменя. Пять. Шесть. Каждый год больше.

За какие огни, я не знал. Я записал себе в голову и стал читать дальше.

— Ну? — спросил Ратмир на четвёртый день.

Он сидел напротив, с рогом браги, — он пил с утра, как все на островах, только пьянел медленнее, — и смотрел на меня весело.

— Пятая часть, — сказал я. — Через крошку. Каждый год.

Ратмир засмеялся — громко, от души, хлопнув ладонью по столу.

— Пятая часть! — повторил он. — Три дня — и пятая часть. А дом шесть лет читает мои книги и не видит. Хорош. Я знал, что хорош.

Он отпил из рога и перестал смеяться.

— Теперь слушай, — сказал он. — Летом придёт корабль. С кораблём придёт ревизор дома. Мне об этом в том же письме написали, что про тебя. Дом решил проверить янтарную контору — впервые за шесть лет. Северная контора теперь новая, глава новый, и новый глава хочет знать, куда уходит янтарь. — Ратмир помолчал. — К приезду ревизора книги должны сойтись. Все шесть. Пятая часть должна стать честной крошкой. Понял?

— Понял.

— Сделаешь?

— Сделаю.

— Хорошо, — сказал Ратмир. Он встал, взял со стола письмо из устья, — то самое, которое показывал мне в первый день, — и сунул его в ящик стола, под книги. — А ревизора ты, кстати, знаешь.

Я ждал.

— Молодой Ведмар, — сказал Ратмир. — Сестрин сын покойного главы. Рыжий. Он выжил. Тот самый, чьё имя ты носил всю зиму. Дом посылает его к нам. Летом.

Он посмотрел на меня, и в его весёлых глазах ничего не изменилось.

— Хочешь — не хочешь, а к лету книги должны сойтись. Тогда и поговорим, что дальше.

Он ушёл вниз, в амбар, и я слышал, как он гремит гирями и ругается с кем-то по-островному. Голос у него внизу был такой же весёлый, как наверху. Он был весёлым всегда — и

когда обвешивал, и когда говорил мне про ревизора. Веселье у него было не от души, а вместо неё.

Я сидел над книгами и считал.

Рыжий молодой Ведмар. Он лежал в горячке наверху у дяди с осени, с синими ногтями, и пил по утрам отраву, разбавленную дядиной рукой. Он выжил. Он кричал на крыльце в одном одеяле, что ревизор — самозванец, что старик из розыска убил его дядю. Теперь он поправился, и дом посылает его сюда — на край света, на камень посреди моря, — проверять янтарь.

Летом он придёт. А до лета отсюда не уйдёт никто.

Серая гусыня ушла на третьей неделе.

Перед уходом её грузили три дня: янтарь дома в запечатанных ларях, шерсть в тюках, вяленую рыбу в связках. Всё это Ратмир записывал в книгу при корабельщике, громко, по-материковому, и корабельщик кивал и ставил свой знак. А в последнюю ночь, когда посёлок спал после прощальной пьянки у Хёрда, я стоял у окна своей каморки и видел, как из задней двери амбара двое людей корабельщика выносят к воде бочонки — шесть бочонков, тяжёлых, без клейма — и грузят в лодку, и лодка уходит к кораблю без огня.

Крошка. Медовая, красная, с мухами.

Утром корабль поднял паруса и вышел из залива, и за Птичьей скалой его взял туман, — и с ним ушло последнее, что связывало этот камень с землёй. До лета.

Я стоял на причале и смотрел, как он уходит. Рядом стоял

Гест — пришёл проводить, сказал, корабль, на котором приплыл домой помирать. Он посмотрел на туман, куда ушёл корабль, потом на меня.

— Теперь ты наш, — сказал он. И пошёл по причалу вверх, к Хёрдову дому, опираясь на посох.

Днём в контору приходили роды.

Янтарь приносили после каждой бури — в кожаных мешках, в корзинах, в подолах. Приносили с Тюленьего острова, с южных мысов, с дальних шхер, на лодках, по три, по пять человек, — бородатые, хмурые, мокрые от моря. Ратмир встречал их в амбаре, у весов, весёлый, с рогом браги, — поил, хлопал по плечам, шутил по-островному. Потом взвешивал.

Я смотрел, как он взвешивает. Большой палец его левой руки лежал на краю чаши с гирями — легко, будто он придерживал её, чтобы не качалась. Чаша с янтарём от этого пальца шла вверх на четверть. Островитяне смотрели на палец. Они видели. Старший из них, седой, с Тюленьего острова, сказал что-то, глядя Ратмиру в глаза. Ратмир засмеялся и ответил — и седой замолчал и взял, что дали.

Дом был единственный, кто покупал янтарь на островах. Другого купца на этом камне не было. Палец Ратмира был законом, как береговое право.

У весов я и начал учить их язык. С чисел — как шесть лет назад начинал с чисел у Верека. Островитяне считали вслух, когда клали мешки на чашу, и Ратмир считал вслух, называя

вес, и через неделю я знал по-островному все числа до ста, и слова тяжело, легко, мало, много, и ещё одно слово, которое Ратмир повторял чаще всех, глядя на чашу с янтарём, — крошка. Немой может выучить чужой язык быстрее говорящего: ему не надо отвечать. Ему надо только слушать.

Погода портилась. Небо над заливом с каждым днём опускалось ниже, ветер с запада становился холоднее, и вода за мысами стала из серой чёрной. Островитяне смотрели на море по-другому, чем летом, — пристально, долго, с ожиданием. Ждали бурь. От бурь на этом камне зависело всё: янтарь, плавник и то, что Ратмир записывал в книгу как огни.

Книги я сводил ночами.

Днём в счётной сидели писцы — двое островитян, которых Ратмир за шесть лет выучил считать и писать по-материковому, чтобы вели при нём весовые записи. Старший, Бьярни, — широкий, медлительный, лет сорока, — писал цифры крупно, старательно, высунув язык. Он не умел читать слов — только цифры и десяток знаков: вес, сорт, род. Младший, Кари, был другой. Лет двадцати, худой, быстрый, с острым лицом и с беспокойными глазами. Кари умел читать. Ратмир учил его дольше всех, и Кари ходил за Ратмиром, как ходят за хозяином собаки, — и, как собака, всё время смотрел, кто ещё рядом с хозяином.

На меня Кари смотрел с первого дня.

Для писцов я был немой. Ратмир так им и сказал: немой старик с корабля, счётчик, будет помогать. Бьярни кивнул и

забыл. Кари не забыл. Он смотрел, как я листаю книги, как вожу пальцем по строкам, как останавливаюсь. Немые тоже умеют считать. Но немые не читают слов.

Поэтому днём я считал только цифры. Слова — ночью.

Ночью я спускался из каморки в счётную со свечой, садился за стол и работал. Брал год за годом, лист за листом, и переписывал. Не подделывал — переписывал заново, так, чтобы каждый лист сходился с соседним, вес с серебром, серебро с ячменём, принятое с отправленным, а пятая часть ровно ложилась в крошку — не всю сразу, а так, как ложилась бы, если бы янтарь и правда крошился: больше в сырые годы, меньше в сухие, больше после зимы, меньше после лета. Это было моё ремесло. Я делал его хорошо.

На шестую ночь после ухода корабля мне понадобилась старая весовая запись, которую Ратмир держал отдельно, и я открыл ящик его стола.

Под весовыми записями, под письмом из устья, лежал лист. Черновик. Рука Ратмира — та же мелкая, торопливая, что в последних листах книг. Без начала, с помарками, писанный, видно, не за один раз.

Почтенному ревизору дома, молодому господину. К вашему приезду всё будет готово: книги сведены, крошка показана, и сверх того приготовлю вам подарок, какого вы не ждёте. Старик, что убил вашего дядю, — у меня. Пришёл сам, на Серой гусыне. Держу при себе, при конторе, за засовом. Он сводит мне книги. Сведёт — и будет ваш. Прошу только

помнить мою службу перед главой дома, когда будете писать о конторе.

Я прочёл это дважды. Положил на место. Закрыл ящик.

Кабан на санном пути сделал со мной то же самое. Сначала — моими руками положить охрану. Потом — меня. Одно другому не мешает.

Ратмиру нужны были мои руки до лета. Потом ему нужен был я — связанный, у причала, подарком ревизору, чтобы ревизор, получив убийцу дяди, не стал слишком внимательно смотреть на крошку.

Я мог убить его в ту же ночь. Он спал внизу, в горнице за счётной, пьяный, без засова. Но тогда я остался бы на острове один — без языка, без угла, без единого человека, который говорит по-материковому и стоит между мной и Хёрдом. До лета было десять месяцев, и впереди была зима, о которой здесь говорили, не договаривая. Ратмир был мне нужен так же, как я ему. До лета.

Значит, до лета мы будем друг другу нужны. А летом посмотрим, кто кого привяжет у причала.

Я поднял свечу, чтобы вернуться к столу, — и увидел в дверях Кари.

Он стоял на верхней ступени лестницы, в темноте, босой, — я не слышал, как он поднялся. Он смотрел на меня, на свечу, на стол Ратмира, на ящик, который я только что закрыл. Глаза у него были круглые, острые, довольные.

Немой старик ночью читал письмо хозяина.

Кари ничего не сказал. Он повернулся и бесшумно пошёл вниз.

Я пошёл за ним.

Кнопку я нажал на ходу, на лестнице. Кари спустился в амбар — он спал в амбаре, на мешках у двери, сторожил янтарь, — и, видно, думал, что я вернусь к себе наверх. Я не вернулся. Я спустился за ним в амбар.

В амбаре было темно. Пахло янтарём и рыбой. Кари стоял у лестницы на чердак — той, крутой, из плавника, — и, услышав меня, обернулся. Свеча у меня в руке освещала его лицо снизу.

Он не испугался. Он улыбнулся — так же, как улыбался Ратмир: весело, как хорошей сделке.

— Хозяину скажу, — сказал он по-материковому, медленно, старательно. — Ты не немой. Ты читаешь.

Он думал, что я буду просить. Или платить. Немые старики, пойманные ночью над хозяйским ящиком, просят и платят.

Я поставил свечу на ларь и подошёл к нему. Он не отступил. Он был молодой, сильный, а я — старик. Он даже протянул руку — ладонью вверх. Плати.

Я взял его за руку.

Сто третий.

Он упал на нижние ступени лестницы, спиной, и голова его ударилась о камень пола с глухим, мокрым стуком. Мне не пришлось ничего делать. Лестница сделала всё сама.

Я постоял над ним. Потом поднялся по лестнице на чердак — три ступени, четыре, — плеснул на них водой из ведра, что стояло у мешков с ячменём, чтобы были мокрые и скользкие. Спустился. Положил его так, как падают с лестницы: головой к камню, ногой на нижней ступени. Свечу забрал.

Погасил кольцо и проверил четыре раза уже у себя, за засовом.

Его нашёл утром Бьярни. Закричал на весь дом. Прибежал Ратмир — в рубахе, с рогом в руке, — постоял над Кари, посмотрел на лестницу, на мокрые ступени, на голову на камне. Бьярни что-то говорил ему по-островному, плача, показывая наверх, на чердак, на мешки.

Ратмир выслушал. Потом поднял голову и посмотрел на лестницу в счётную. На меня, стоявшего наверху, в дверях.

— Полез ночью за ячменём, — сказал он по-материковому, мне. — Брагу варить, видно, хотел, тайком. Лестница мокрая, скользкая. Крыша течёт.

Он отпил из рога и пожал плечами.

— И этот у меня не первый, — сказал Ратмир.

Глава 4. Береговое право

Первая осенняя буря пришла на девятую неделю.

Её ждали. Весь посёлок ждал её с утра: мужики стояли на мысах и смотрели на запад, бабы загоняли овец с крыш в загоны, лодки вытаскивали выше на берег и переворачивали днищами вверх, придавливая камнями. Небо на западе с полудня стало жёлтым, потом бурым, потом чёрным. Птицы на Птичьей скале замолчали — все разом, будто их выключили, — и в этой тишине было слышно, как по заливу идёт рябь, мелкая, частая, против ветра.

К вечеру ударило.

Ветер с моря нёс воду — не дождь, а саму воду, сорванную с волн, солёную, тяжёлую, — и бил ею в стены, в крыши, в лица. Прибой у Птичьей скалы ревел так, что в конторе на втором жилье дрожали ставни. Я сидел в каморке за засовом и слушал, как над головой ходит крыша на китовых рёбрах — скрипит, стонет, держит.

Около полуночи я увидел огни.

Окно моей каморки выходило на залив, а за заливом, слева, был мыс — длинный, низкий, каменный, тот, что закрывал залив от моря с полудня. На самом конце мыса загорелся огонь. Потом второй — левее, выше. Два огня, один над другим, жёлтые, ровные, яркие даже сквозь летящую воду.

Я знал эти огни. Их зажигали каждую ночь, когда в заливе

ждали лодку с моря: два огня на входе в залив, на скалах, — один над другим. Кто видит их ровно один над другим, тот идёт верно; кто видит их врозь — сбился. Так вводили лодки в Вороний залив в темноте.

Это было моё ремесло, только малое. Тридцать лет я водил корабли по огням — не по таким, по другим, по огням маяков на чужих лунах и по огням, которые машина рисовала мне на стекле, — и знал главное правило всякого огня: огонь не врёт. Огню верят, когда больше верить нечему. Кормщик в бурю, ночью, у чужого берега, увидев два огня один над другим, повернёт на них, не думая. Иначе зачем огни.

Только эти огни горели не на входе в залив. Они горели на мысу. В полуверсте левее. Там, где под мысом из воды торчали камни, — я видел их днём: чёрные зубья, длинной грядой, далеко в море.

Хёрду — за огни. Три мешка ячменя. Пять. Шесть.

Я надел кафтан и спустился вниз.

Посёлок не спал. По склону, в темноте, под летящей водой, к мысу бежали люди — все: мужики, бабы, подростки, — с фонарями, закрытыми от ветра, с баграми из китовой кости, с мешками, с верёвками. Никто не кричал. Бежали молча, быстро, как бегут на дело, которое знают. Я пошёл с ними.

На мысу было светло от огней — их жгли в больших каменных чашах, сложенных на скале, из торфа, политого тю-

леньим жиром, — и под огнями, на камнях, стояли люди Хёрда. Хёрд стоял выше всех, на скале, в своей медвежьей шкуре, и смотрел в море. Рядом с ним — его сыновья.

В море, в черноте, за летящей водой, был огонь. Маленький, качающийся, жёлтый. Фонарь на мачте.

Корабль шёл на огни.

Он шёл долго — так долго, что я успел замёрзнуть до костей, стоя на камнях под ветром. Огонёк на мачте качался, пропадал за волнами, появлялся снова, ближе, ближе. Островитяне стояли и ждали. Никто не говорил ни слова. Было слышно только ветер и прибой.

Потом огонёк дёрнулся — резко, вбок, — и я услышал сквозь рёв прибоя другой звук. Треск. Долгий, рвущийся, как треск льда под ногами, только громче. И крик — далёкий, тонкий, многоголосый, — который тут же пропал в ветре.

Корабль сел на камни.

Хёрд на скале поднял руку. И весь мыс пошёл вниз, к воде.

Я не буду рассказывать всего. Скажу, что видел.

Корабль лежал на камнях в двухстах шагах от берега, на боку, и волны перекатывались через него и рвали его на куски. Мачта упала. Фонарь погас. В воде, между кораблём и берегом, были люди — я видел их, когда волна поднимала их на гребень: головы, руки, обломки, бочки. Их несло к берегу. Прибой бросал их на камни и стаскивал назад, и снова бросал.

Островитяне стояли на камнях у воды, по колено в пене, и ждали.

Когда человека выбрасывало на камни живым — а живых было много, — к нему подходили двое-трое. Не касаясь. У островитян на это был закон, древнее берегового права: кого море принесло, того не трогай руками — море забрало его себе, и тот, кто коснётся, отберёт у моря его долю, и море придёт за ним самим. Впервые за шесть лет я стоял среди людей, у которых не касаться было законом, а не приметой. Поэтому к выплывшим подходили с баграми из китовой кости и с камнями. Багром цепляли за одежду и вытаскивали выше, на сухое, — где волна не достанет, — и там били камнем по голове. Один раз, или два, или сколько понадобится.

Крепких не били. Крепких вязали — сетью, с баграми, не касаясь, — и уводили наверх. В работу.

Хилых — били.

Монахи пришли на мыс вместе со всеми — посмотреть, что за огни. Они стояли наверху, у огней, в своих серых рясах, и смотрели вниз, и молились, — а потом младший из них не выдержал. Он сбежал вниз по камням, в пену, к матросу, которого только что выбросило волной, — тот был жив, кашлял, держался за камень, — и схватил его за руки. Голыми руками. Потащил наверх.

Островитяне закричали все разом. Кричали не на матроса — на монаха. Монах не понимал. Он тащил матроса, а островитяне обступили их — не подходя, на длину багра — и

кричали одно слово, и я потом узнал, что оно значило: отнял.

Потом двое упёрлись в монаха баграми — в спину, в грудь, — и толкнули. Монах упал в пену вместе с матросом, которого держал. Следующая волна накрыла обоих. Багры держали их там, под водой, пока волна не отошла и не пришла следующая, а за ней ещё одна. Потом багры убрали. Море взяло обоих.

Старый монах стоял наверху у огня и смотрел. Он больше не молился.

Пятерых крепких матросов увели наверх в сетях. Они шли, спотыкаясь, мокрые, с разбитыми лицами, и не понимали ни слова из того, что им кричали. Я посмотрел им вслед. Через пять лет кто-нибудь из них будет учить чужого старика островным словам за краденый хлеб.

Я стоял на камнях и смотрел. Я видел это всё — так же, как видел шесть лет назад мор в городе на мысу, войну младшего брата и костёр на площади. Я ничего не чувствовал. Я смотрел, как это делается, потому что мне надо было знать, как это делается здесь.

Груз несло к берегу вместе с людьми. Бочки, тюки, ящики, доски. Бабы и подростки ловили его баграми и тащили наверх, на мыс, складывали в кучи у огней. Каждая куча — чьего-то двора.

Я пошёл ловить груз. Немой старик, который стоит и смотрит, — это примета. Немой старик, который тащит из воды бочку, — это свой.

Я вытащил тюк — тяжёлый, мокрый, в просмолённой рогоже — и поволок его вверх по камням. И тут из-за камня, из пены, ко мне поползло что-то тёмное.

Человек. Матрос. Молодой, в разорванной рубахе, с лицом, залитым кровью из рассечённого лба, с переломанной — я видел — ногой, торчавшей под неправильным углом. Он полз ко мне на руках по мокрым камням, хрипя, и смотрел на меня снизу, — на меня, единственного, кто стоял рядом без багра и без камня. Он думал, я помогу. Он протянул руку и вцепился мне в ногу, в голенище сапога.

Кнопку я нажал на мысу, когда корабль сел на камни.

Сто четвёртый.

Его пальцы разжались. Голова легла на камень. Волна накрыла его, отступила — и потащила за собой, назад, в пену.

Я стоял и смотрел, как его уносит. А потом поднял голову — и увидел второго.

Он сидел за камнем, в двадцати шагах, в расщелине между двумя валунами, куда его, видно, забросило волной и откуда он не выбирался, потому что боялся. Он видел островитян с камнями. Он сидел там, мокрый, белый, и смотрел — на меня. Он видел, как первый вцепился мне в ногу и умер. Без камня. Без багра. От руки на сапоге.

Он смотрел на меня так, как смотрят на того, кто страшнее моря.

Я пошёл к нему. По камням, медленно, подобрав по дороге камень — круглый, тяжёлый, с кулак. Так ходили все.

Островитянин с камнем идёт к выплывшему — никто на это не посмотрит.

Он не побежал. Ему некуда было бежать: позади — скала, впереди — я, по бокам — пена. Он забился глубже в расщелину и выставил перед собой руки.

Я наклонился к нему и взял его за руку.

Сто пятый.

Камень я положил рядом. Потом выволок его из расщелины за ворот и столкнул в прибой. Волна приняла его, как принимала всех.

Когда я поднялся по камням со своим тюком, наверху, у огня, стоял Хёрд. Он видел меня. Он стоял, расставив ноги, мокрый, в медвежьей шкуре, с багром в руке, и смотрел — на меня, на тюк, на камни внизу, где уносило в пену двоих.

Потом он засмеялся. Громко, перекрывая ветер. И сказал что-то своим сыновьям, показывая на меня багром.

Сыновья засмеялись тоже.

Одно слово из того, что он сказал, я знал. Слышал его у весов, слышал на пирах у Хёрда, когда островитяне говорили о своих.

Наш.

Под утро, когда добро поделили по кучам, ко мне подошёл один из Хёрдовых сыновей — младший, лет восемнадцати, белобрысый — и бросил к моим ногам свёрток. Рулон крашеной ткани, красной, мокрой, с клеймом оленя. Сказал что-то и засмеялся. Моя доля. Немой старик, вытащивший

тюк, получал долю, как все.

Я поднял свёрток. Он был тяжёлый от воды, и с него текло на сапоги.

К утру буря стихла. Корабля на камнях не было — его разбило совсем, и от него остались только обломки в прибое да мачта, застрявшая между двух зубьев гряды. На мысу, у потухших огней, лежали кучи добра — бочки с вином, тюки с тканями, ящики с посудой, мешки с солью, с перцем, с изюмом. Вино — южное, сладкое. Ткани — крашеные, дорогие. На каждом тюке, на каждой бочке стояло клеймо — не дома Ведмаров. Чужое клеймо: олень в круге.

Мёртвых вынесло тоже. Их лежало по всему берегу под мысом, в пене, на камнях, на гальке — тридцать с лишним. Островитяне ходили между ними и раздевали — баграми, ножами, не касаясь руками: срезали пояса, стягивали сапоги, распарывали рубахи. Сукно на островах в цене. Голых мёртвых оставляли на гальке, у самой воды, на отливе. Море принесло — море и заберёт. К вечеру прилив забрал половину. Остальных — следующий.

— Сарматовичи, — сказал Ратмир. Он пришёл на мыс утром, с Бьярни и с весами, весёлый, выспавшийся. — Торговый дом из герцоговой гавани. Второй год лезут к нам за янтарём, мимо нашего дома. Хотят свою контору здесь ставить. — Он пнул ногой бочку с клеймом оленя. — Теперь не поставят.

Он стал взвешивать добро.

Я стоял рядом и смотрел. Роды подносили к весам свои кучи, Ратмир взвешивал, называл цену, Бьярни записывал. Платил Ратмир серебром дома и ячменём дома. Вино он брал по цене браги, ткани — по цене рогожи, перец — по цене соли. Островитяне не спорили. Другого купца на этом камне не было.

А в конце, когда последняя куча ушла в амбар, Хёрд подошёл к весам сам, и Ратмир, не взвешивая ничего, велел Бьярни отсыпать ему шесть мешков ячменя. Бьярни записал. Я видел, что он записал: Хёрду — за огни.

Береговое право было старше всех прав на островах. Но платил за него дом Ведмаров.

Дом Ведмаров на Западных островах торговал не янтарём. Он торговал мертвецами. Ратмир покупал у Хёрда корабли — чужие корабли, корабли соперников, — целиком, с грузом и с людьми, по цене шести мешков ячменя. Хёрд зажигал огни. Корабли шли на камни. Люди шли на камень. А добро шло в амбар дома, по цене соломы, и оттуда — летом, на Серой гусыне, — на восток, по настоящей цене.

Я видел воров у Ставра, у Будимира, у Ратмира над крошкой. Таких я не видел.

Среди добра, вынесенного морем, был ящик — небольшой, кожаный, обитый медью, запертый. Его вынесло на берег целым. Ратмир, увидев его в одной из куч, сразу сказал что-то роду, чья была куча, и род отдал ящик, не взвешивая. Ратмир унёс его в контору сам, под мышкой.

Почта, понял я. Почта корабля.

Ночью я спустился в счётную со свечой.

Ящик стоял под столом Ратмира, открытый. Внутри были письма — мокрые, слипшиеся, с расплывшимися чернилами. Купеческие, деловые. Цены, долги, поклоны. Ратмир их перебрал и бросил обратно в ящик. Одно письмо он вынул — и положил в ящик своего стола, под черновик ревизору.

Я открыл ящик стола.

Письмо было на хорошей, плотной бумаге — такую я видел только у барона, — и печать на нём была не купеческая. Вепрь. Чёрный вепрь на воске. Бумагу размочило, но воск держал, и чернила были хорошие, канцелярские, — расплылись только по краям.

Канцелярия его светлости герцога — янтарному фактору дома Ведмаров на Западных островах. По просьбе дома и по слову барона, вассала его светлости. Старик из розыска дома, именующий себя то счётчиком, то ревизором, ушёл в начале лета из рыбачьего порта на корабле Серая гусыня к Западным островам. Его светлость желает получить старика живым и невредимым. Фактору держать старика при себе до весны, тихо, не пугая и не давая знать, что он узнан. Весной его светлость пришлёт за ним свой корабль. За услугу фактору — милость его светлости и двести золотых.

Я прочёл это дважды и положил на место.

Герцог. Тот самый, в чьей столице стоял остов моей лодки и сидел над ним книжник в стеклянных очках.

Корабль, который Хёрд посадил на камни этой ночью за шесть мешков ячменя, вёз Ратмиру письмо обо мне.

Ратмир сам потопил свою почту.

Только письмо выплыло. Море отдаёт, сказал Гест. И теперь у Ратмира было два покупателя на одного старика. Ревизор дома — летом. Герцог — весной. Двести золотых и милость его светлости против благодарности рыжего мальчишки, который никогда не простит Ратмиру крошку. Я знал Ратмира шесть недель и знал уже, кому он продаст. Тому, кто приедет раньше и заплатит больше.

Весна наступала раньше лета.

А я стоял ночью над его ящиком со свечой и думал о том, что на этом камне посреди моря меня уже нашли. Не дом — дом знал и раньше. Герцог.

Глава 5. Неклюд

Торф в контору носил раб.

Он приходил через день, на рассвете, с большой плетёной корзиной на спине, полной бурых, ноздреватых, пахнущих болотом брикетов, и сваливал их у задней двери амбара, где под навесом лежала поленница — торфяница, как её звали, — и уходил. На левой ноге у него было железное кольцо, а от кольца к поясу шла цепь, короткая, в полтора шага, чтобы можно было ходить, но нельзя бежать. Цепь звенела на каждом шагу. Его было слышно издалека.

Он был не островитянин. Это я понял сразу, по лицу: тёмный, с чёрной бородой, с короткими курчавыми волосами, с носом, перебитым в двух местах. Островитяне были светлые, рослые, длиннолицые. Этот был ниже, шире, с руками, похожими на корни.

На третий раз, когда он сваливал торф, я стоял у задней двери. Он поднял голову, увидел меня и сказал — тихо, хрипло, по-материковому, на том говоре, на каком говорят в герцоговых гаванях:

— Хлеба нет, отец?

Я вынес ему хлеба. Свой — тот, что пёк себе сам в каморке на очаге, из ячменя дома. Он съел его тут же, у торфяницы, не жуя, давясь, оглядываясь на склон, где были люди Хёрда.

— Неклюд, — сказал он, когда доел. — Так звали. Теперь никак не зовут. Раб. — Он кивнул на цепь. — Пятый год.

Потом, в другие дни, он рассказал, как попал сюда. Он ходил матросом на когге из герцоговой гавани, на соляном, и пять лет назад, осенью, в бурю, их когг пошёл на два огня один над другим. Кормщик был старый, бывалый, ходил на острова десять раз. Он поверил огням. Когг сел на гряду под мысом. Из двадцати двух человек до берега доплыли девять. Пятерых добили камнями — хилых, раненых. Четверых взяли в сети. Из четверых один умер в первую зиму от кашля, второй — во вторую, утонул на отливе, собирая мидии на цепи. Третьего, Гуньку, взяли прошлой зимой — Неклюд не сказал тогда, куда. Остался он один.

— Кормщику нашему камнем голову разбили, — сказал Неклюд. — Он ещё живой был, просил. Я видел из сети. — Он помолчал. — Я тогда думал — убегу и всех их пожгу. Пятый год думаю.

С того дня я выносил ему хлеб каждый раз. А он учил меня их языку.

Это была плата. Он это понимал, и я это понимал. Мне нужен был язык — не числа у весов, а язык, на котором говорят у очага, на пирах, на сходе, — и больше на этом камне его взять было не у кого: Ратмир говорил по-островному, но учить немого не стал бы, а островитяне при немом говорят, как при собаке, и ничего ему не объясняют. Неклюду нужен был хлеб. Хёрд кормил рабов раз в день — похлёбкой из ры-

бьих голов, — и Неклюд был голоден пятый год.

Учил он так же, как учил меня шесть лет назад мальчишка у хлебного ряда: тыкал пальцем и называл. Хлеб. Вода. Море. Торф. Камень. Овца. Цепь. Огонь. Нож. Смерть. Только Неклюд не смеялся, когда я повторял. Он смотрел на меня тёмными глазами и поправлял — коротко, зло, по нескольку раз, пока не выходило верно.

Слова я складывал в столбцы, как когда-то в чулане первого города, — по ночам, в каморке, за засовом, вслух, шёпотом. Через две недели я понимал половину того, что говорили островитяне у весов. Через месяц — больше половины. Говорить я не говорил. Немой.

— Зачем тебе? — спросил Неклюд однажды. — Говорить всё равно не станешь.

— Слушать, — сказал я.

Он посмотрел на меня долго.

— Это правильно, — сказал он. — Здесь надо слушать. Здесь всё, что надо знать, говорят вслух. При рабах и при немых. Они думают, мы не люди.

От него я узнал, как устроены острова. Пять родов на Большом острове и ещё три — на малых. У каждого рода свой берег, свои овцы, свой торфяник, свои огни. Хёрдов род — самый сильный: у него Вороний залив, контора и Птичья скала. Над всеми родами — сход, раз в год, осенью, у Камня Закона, на пустоши за посёлком. На сходе законоговоритель — старик Ульв, слепой, — читает закон наизусть, весь,

от первого слова до последнего, три дня. Закон не писаный. Его помнят.

— А закон про тех, кого море выбросило? — спросил я.

— Есть, — сказал Неклюд. — Про них много чего есть.

Больше он тогда не сказал. Я видел, что знает. Я не стал торопить. Хлеб я носил через день, и через день он говорил ещё немного.

На шестой неделе после бури Хёрд устроил пир.

Пир был в честь добычи — так сказал Неклюд, — осенний пир, после первой бури, когда корабль на камнях, и добро поделено, и вино в бочках чужое, южное, сладкое. Звали всех из рода. И гостей. Ратмира звали каждый год. В этот раз позвали и немого старика из конторы — того, что вытащил тюк и получил долю.

Я пошёл. Отказаться от пира у главы рода на островах — то же, что не выпить из гостевого рога.

Длинный дом Хёрда был длиной шагов в пятьдесят, с очагом посередине во всю длину — длинной канавой в земляном полу, где горел торф, — и с лавками вдоль стен, покрытыми овчинами и тюленьими шкурами. Под крышей на китовых рёбрах висели связки рыбы и окорока. Дым шёл в дыру в крыше, и половина его оставалась внутри, и сквозь дым лица людей у очага были красные, мутные, как в бане.

Людей было человек семьдесят. Мужики, бабы, старики. Хёрд — на высоком месте, в конце дома, в медвежьей шкуре, с рогом. Рядом — сыновья. Рядом с сыновьями — Ратмир,

красный, весёлый, уже пьяный, с рогом в руке. Ниже — род.

Меня посадили на краю. Немой, чужой, гость.

У очага, на низкой скамье, отдельно от всех, сидела старуха в чёрном. Маленькая, сгорбленная, с лицом, как печёное яблоко, и с глазами белыми, без зрачков, — слепая. Перед ней стояла чаша, и она не пила из неё, а держала над ней руки, будто грела. Никто не садился рядом с ней. Когда мимо проходили, обходили её скамью стороной. Неклюд говорил мне про неё: Сигга, ведунья рода, видит то, чего не видят зрячие, и говорит с морем.

Весь пир она сидела, повернув лицо в мою сторону. Слепая — или почти: Неклюд говорил, что огонь и тени она видит, а лиц не различает. Лица ей, говорил он, и не нужны.

Пили сразу и много. Южное вино из бочек с оленем мешали с брагой и пили из рогов, из чаш, из деревянных ковшей — деревянные ковши были из плавника и стоили дороже серебряных чаш, их передавали из рук в руки бережно. Ели баранину, вяленую рыбу, тюленье сало, птичьи яйца, ячменные лепёшки. Пели. Песни у них были длинные, на один лад, про море, про бурю, про корабли, про мёртвых — я понимал теперь слова, — и пели их все вместе, раскачиваясь, ударяя рогами о лавки.

Мне налили. Я не взял.

Сосед по лавке — молодой, светлый, пьяный — засмеялся и сказал что-то соседу. Тот засмеялся тоже. Потом смеялась половина края. Я понимал теперь, что говорят. Говори-

ли: немой. Говорили: зарок. Говорили: море за него пьёт, — и смеялись снова, потому что так сказал Хёрд на причале, и теперь это была шутка рода.

Я ел своё. Лепёшку, которую принёс с собой за пазухой. И смотрел.

Ближе к полуночи, когда все были пьяны, из конца дома, с высокого места, поднялся Торд.

Торд был старший из Хёрдовых сыновей. Лет двадцати пяти, рослый, как отец, широкий, с белой бородой, заплетённой в две косы, с лицом, на котором было написано, что ему никто никогда ничего не запрещал. Он был пьян сильнее всех. Он прошёл вдоль очага, через дым, с полным рогом в руке, — и остановился передо мной.

Пир затих.

Торд сказал громко, на весь дом, — и я понял каждое слово.

— Гость не выпил гостевого рога. Это обида роду. По закону — гость пьёт на первом пиру. Или он не гость.

Дом загудел. Кто-то засмеялся, кто-то закричал: пусть пьёт! Хёрд на высоком месте смотрел молча, с рогом у губ. Ратмир рядом с ним перестал смеяться и смотрел на меня. На мои руки.

Я покачал головой.

Торд засмеялся.

— Не хочет, — сказал он дому. — Немой не хочет. А закон хочет.

И сделал то, что, видно, было у них в обычае с теми, кто не хочет. Он бросил рог соседу, шагнул ко мне, схватил меня одной рукой за затылок, другой — за челюсть, сжал так, что зубы мои разомкнулись, и запрокинул мне голову. Сосед подал ему рог. Торд поднёс его к моему рту.

Зарок я дал не для того, чтобы его ломали. Я дал его для того, чтобы жить. Вино, брага, пиво — всё это делает руку медленной, а голову глупой, и тот, у кого на запястье смерть, не может позволить себе ни медленной руки, ни глупой головы. Ни разу за шесть лет. Ни капли.

Я нажал кнопку. Правой рукой, под столом, — пока он держал мою голову.

Сто шестой.

Брага плеснула мне на лицо, на бороду, на грудь. Рог упал. Торд постоял ещё — миг, держа мою голову, — потом руки его разжались, и он повалился боком в очаг, в горящий торф. Сосед, подававший рог, закричал и вытащил его за ноги.

Дом вскочил.

Кричали все. Бабы визжали. Мужики толпились над Тордом, переворачивали его, хлопали по щекам, лили на него воду. Кто-то кричал: захлебнулся! Кто-то — подавился! Кто-то — перепил, сердце! Торд лежал на земляном полу у очага, с обожжённой щекой, с открытыми глазами, и не дышал.

Я сидел на своей лавке. Брага текла у меня с бороды. Кольцо я погасил под столом и проверил — раз, два, три, четыре. Рядом со мной никого не было: сосед отскочил к стене.

Хёрд сошёл с высокого места. Медленно. Он прошёл через расступившийся род, опустился на колено над сыном, положил ему руку на грудь. Подержал. Потом поднял голову и посмотрел на меня.

Ратмир стоял за его спиной и смотрел тоже.

Хёрд поднялся. Он шагнул ко мне — и остановился. На трёх шагах. Не потому, что знал. Потому, что сзади его взяла за руку старуха.

Сигга. Ведунья. Она держала Хёрда за руку слепыми пальцами и говорила ему что-то тихо, тонким, скрипучим голосом. Я слышал не всё. Я слышал: море. Я слышал: сам сказал — море за него выпьет. Я слышал: отнял у моря — море взяло.

Хёрд слушал. Лицо у него было каменное. Потом он сказал что-то коротко, — и род отступил от меня ещё на шаг. Все, кто стоял рядом.

Никто не тронул меня. Никто не подошёл.

Торда унесли.

Я ушёл с пира, когда меня никто не держал, — а держать меня никто не стал. Шёл по склону к конторе в темноте, мокрый от браги, и слышал за спиной, в длинном доме, вой баб над Тордом.

За шесть лет меня пытались напоить много раз. Возчики в обозе — смеясь. Будимир в пушном городе — обнимая по-медвежьему. Зять Будимира, тот, что пил за непьющих. Кабан — с ухмылкой, издали, проверяя. Никто ни разу не

держал меня за голову. Торд держал. Торд был первым, кто захотел не проверить, а сломать.

Я шёл и думал не о Торде. Я думал о Сигге. О том, как она взяла Хёрда за руку и сказала ему слово, которое остановило его на трёх шагах. Слепая старуха у очага остановила главу рода над мёртвым сыном одним словом. Это слово было — море.

У задней двери амбара, у торфяницы, в темноте, сидел Неклюд. Цепь его была длинной верёвкой привязана к столбу навеса: Хёрдовы рабы ночевали там, где работали, а он, видно, остался с вечерней ноской торфа. Он ждал меня. Он слышал вой.

— Торд? — спросил он.

— Торд.

Неклюд помолчал.

— Сигга сказала — море взяло?

— Сказала.

— Тогда тебя не тронут, — сказал Неклюд. — До зимы. Теперь — точно до зимы.

— Почему до зимы?

Он поднял на меня глаза — в темноте я видел только белки.

— Ты так и не понял, отец? — спросил он тихо. — Зачем тебя кормят? Зачем гость, зачем угол, зачем доля? Тебя пустили не потому, что ты им нужен. Тебя пустили потому, что зимой им нужен ты.

Я ждал.

— Зимний долг, — сказал Неклюд. — Так у них называется. В самую длинную ночь, в солнцеворот, острова платят морю. Чтобы море весной отпустило лодки, чтобы дало янтарь, рыбу, корабли на камни. Платят чужаком. Берут чужого — кого море принесло или кто сам приплыл, — ведут на отлив, к Долговому камню, за Птичьей скалой, и привязывают. Отлив кончается, прилив идёт. К утру море берёт своё.

— А потом?

— Потом находят. Иногда. — Неклюд пожал плечами. — Верёвка держит. Привязанный висит у камня, когда вода уходит, — синий, раздутый, крабы на нём. Птицы ему глаза выклёвывают. Его не снимают. Пока море само не возьмёт — до весны висит. Нельзя снимать: море обидится. Весной, после первой бури, камень пустой. Значит, море взяло. Значит, долг принят.

Он помолчал.

— Прошлой зимой — Гунька, матрос, из наших, с одного со мной корабля. Позапрошлой — монах, тоже с Серой гусыни. До того — баба какая-то, с купцом приплыла. Каждую зиму. Ни одной не пропустили. Рабов не берут — рабы на работу. Берут гостей. Гость сытый, гость — подарок.

— И нынче?

— Нынче род Хёрда тебя назвал, — сказал Неклюд. — Ещё до бури, на малом совете. Немой с Серой гусыни, который не пьёт. Хёрд сказал на причале — море за него выпьет.

Это не шутка была, отец. Это он тебя морю пообещал. А после Торда — Сигга скажет на сходе, что море само тебя метит. Что ты уже морской.

Я стоял у торфяницы, мокрый, в браге, и смотрел на залив. Вода в нём была чёрная. За мысом, за Птичьей скалой, ревел прибой.

Гостя кормят. До зимы.

Неклюд потянул меня за рукав. Я отступил. Он посмотрел на свою руку, на меня — и не обиделся.

— Слушай, — сказал он ещё тише. — Я пятый год тут. Я знаю, как уйти с острова. Знаю место. Знаю лодку. Одному мне не уйти — цепь, и Хёрд следит. А вдвоём...

Он замолчал и посмотрел на склон, где в длинном доме выли над Тордом.

— Вдвоём — можно, — сказал Неклюд. — Хлеба ещё принесёшь — расскажу.

Глава 6. Зимний долг

Торда хоронили на третий день, в торфе.

Я видел это из окна каморки, а потом — с края пустоши, куда пошёл вслед за всеми, держась поодаль. На островах мёртвых не жгут: дерева нет. Не кладут в землю: земли на камне — на ладонь. Мёртвых кладут в торф. За посёлком, за пустошью, в низине между двумя холмами, лежало болото — бурое, чёрное, с блестящими окнами воды, с кочками рыжей травы, — и там, где торф был глубже всего, род Хёрда хоронил своих.

Торда несли на носилках из китовых рёбер и тюленьих шкур, вшестером — братья. Шёл весь род. Бабы выли. Мужики молчали. Хёрд шёл впереди, в медвежьей шкуре, без шапки, и его седые волосы мокли на ветру. Сигга шла рядом с ним, держась за его локоть, маленькая, чёрная.

У болота мужики вырезали в торфе яму — длинную, узкую, глубиной в рост человека, — плоскими лопатами из китовой лопатки, и бурая вода тут же стала сочиться в яму со стен. Торда опустили туда на ремнях, в одежде, с ножом на поясе, с рогом в руках. Сигга сказала над ним что-то долгое, нараспев, — я понимал теперь не всё, но понимал, что она говорит морю: этого не бери, этот наш, этот в торфе, — и братья стали класть на него вырезанный торф обратно, пласт за пластом.

Хёрд не смотрел в яму. Он смотрел на меня. Через всю пустошь, через головы рода. Долго.

Потом отвернулся.

Ко мне никто не подошёл. Ни тогда, ни потом. На пустоши, на склоне, у причала люди Хёрдова рода, видя меня, сворачивали, отступали, обходили — так же, как обходили на пиру скамью Сигги. Бабы прятали от меня детей. Мальчишки, кидавшие в меня рыбьими головами, больше не кидали. Они смотрели издали и молчали.

Я не стал от этого ни ближе, ни дальше от моря. Я стал меченым.

Ратмир пришёл ко мне в счётную вечером того же дня, с рогом, сел напротив и долго смотрел, как я пишу.

— Торд был дурак, — сказал он наконец. — Хёрд его не любил. Хёрд любил младших. Но Торд — старший, и теперь у Хёрда долг перед родом: за старшего сына кто-то должен заплатить.

Я писал.

— Сигга сказала — море взяло, — продолжал Ратмир. — Хорошо сказала. Хёрд не может теперь тебя тронуть руками, без закона. Но он может подождать закона. Ты знаешь про зимний долг?

Я поднял глаза.

— Знаешь, — сказал Ратмир и кивнул. — Раб сказал, надо думать. Ну вот. Тебя назвали. Ещё до бури. А теперь, после Торда, на сходе это скажут вслух, и весь остров скажет: да.

— Он отпил из рога. — Мне это не нравится.

— Почему?

— Потому что книги к солнцевороту не сойдутся, — сказал Ратмир весело. — Шесть лет. Ты делаешь быстро, но не так быстро. А мне они нужны к лету. И ты мне нужен — к весне. — Он поставил рог на стол. — Значит, придётся мне с Хёрдом говорить. До схода.

— О чём?

— О ячмене, — сказал Ратмир и засмеялся. — На этом камне все разговоры — о ячмене. Хёрд верит в море, Сигга верит в море, род верит в море. А ячмень Хёрду даю я. Море ячменя не даёт. — Он перестал смеяться. — Только ты не думай, что я тебя жалею. Я тебя не жалею. Ты мне нужен целый. Как весы. Весы тоже не жалеют — их берегут.

Он встал, взял рог и пошёл к лестнице. У лестницы обернулся.

— И Торда ты мне больше не делай, — сказал он. — Второго Торда я у Хёрда не выкуплю.

Он не сказал, о чём. Он не сказал, зачем я ему нужен к весне, — и сказал этим больше, чем хотел. Письмо канцелярии с чёрным вепрем лежало в его столе. Весной придёт корабль герцога. Двести золотых и милость его светлости. Мёртвый у Долгового камня старик не стоил ничего.

Ратмир спасал меня от зимы, чтобы продать весной. Я это видел. Он видел, что я вижу. И улыбался.

Неклюд рассказал мне про лодку через неделю.

Он ждал меня у торфяницы, как всегда, на рассвете, с пустой корзиной, и, когда я вынес хлеб, не стал есть сразу. Оглянулся на склон. Заговорил тихо, быстро, по-материковому.

— Тюлений остров, — сказал он. — Знаешь? Малый, к полудню отсюда, полдня на вёслах. Там тюлени лежат по осени, род Хёрда их бьёт. Там, в скалах, в пещере у воды, есть лодка. Шестивёсельная, островная, крепкая. Гунька её прятал два года, по доске, по ремню. Его взяли — лодка осталась. Я знаю, где.

— И куда на ней?

— На полдень, — сказал Неклюд. — Два дня на полдень — шхеры. Рыбачьи. Там летом люди с материка рыбу ловят, ставят избы. Зимой пусто, но избы стоят. А весной приходят рыбаки — и с ними на материк. Гунька знал от старого кормщика. — Он посмотрел мне в лицо. — Мне нужна только цепь. Нож твой. И хлеб на четыре дня. И ты. Одному мне лодку в море не стащить.

— Когда?

— Перед долгом, — сказал Неклюд. — В ночь перед солнцеворотом. Когда весь остров у Хёрда пьёт перед долгом — до утра. Тогда никто не смотрит.

Он съел хлеб и ушёл, звеня цепью.

Я поднялся к себе и сел у окна.

Я был навигатором тридцать лет. Я знал, что такое два дня в открытом море на шестивёсельной лодке, в начале зимы,

на волне, какая ходит здесь в солнцеворот. Это не два дня. Это смерть на первый. Но это было не главное. Главное было другое.

Серая гусыня шла от рыбачьего порта до островов десять дней — на закат. Корабельщик вёл хорошо, я проверял по звёздам каждую ночь. Материк лежал на восходе, далеко. На полдень от островов не было ничего — я видел это не по звёздам, а по морю: зыбь шла с полудня длинная, ровная, тяжёлая, какая бывает только там, где ей не мешает ни одна земля на тысячу вёрст. Гест рассказал мне за десять дней на корабле про острова всё — и ни разу не сказал про шхеры на полдень. У Ратмира в конторе висела на стене кожаная карта дома, писанная красками, — острова, пролив, материк, гавани. На полдень от островов на ней было пусто. Синее поле, и в нём нарисованный кит.

Шхер не было. Лодки, может быть, и не было. Был Неклюд, который пятый год думал, как уйти, — и придумал.

Я не знал ещё, что он придумал. Я узнал через три дня.

Ночью я не спал. Я сидел у окна в темноте и смотрел вниз, на торфяницу у задней двери амбара, где ночевал Неклюд, привязанный цепью к столбу навеса. После полуночи он встал. Я видел его тень. Он повозился у столба — недолго, — и цепь его стала длинной, свободной: верёвку, которой его привязывали, он, видно, давно умел снимать и надевать. Он пошёл по склону вниз, в темноту, держа цепь в руке, чтобы не звенела.

Я спустился и пошёл за ним.

Он шёл к краю посёлка. Туда, где на отшибе, у самой пустоши, стояла маленькая землянка — круглая, низкая, наполовину вкопанная в склон, с крышей из дёрна, на которой росли не трава, а какие-то колючие сухие стебли. Из дыры в крыше шёл дым — не бурый, торфяной, а сизый, сладковатый, пахнущий травой.

Землянка Сигги.

Неклюд постучал — тихо, три раза — и вошёл.

Я подошёл к землянке сзади, со стороны пустоши, и лёг на склон, у стены. Стена была из дёрна — толстая, но не такая толстая, чтобы не слышать. Внутри потрескивал огонь. Говорили по-островному.

Голос Сигги, тонкий, скрипучий:

— Говори.

Голос Неклюда — хриплый, торопливый, с чужим выговором, который я теперь различал:

— Он не немой. Он говорит. По-материковому — как писарь, чисто. Он читает. Он считает быстрее Ратмира. Он спрашивал меня про ваш закон — про тех, кого море выбросило. Он спрашивал, как уйти с острова.

— Что ещё?

— Он не даёт себя трогать. Никому. Я потянул его за рукав — он отступил. Не испугался — отступил. Как от огня. Он хлеб мне кладёт на камень, не в руки. Пятый раз — на камень.

Тишина. Потрескивал огонь.

— Это я и так знаю, — сказала Сигга. — Это я видела на пиру. Тень его видела. Тень у него — как у моря: всё в себя берёт и ничего не отдаёт. Что ты мне ещё принёс?

— Лодку, — сказал Неклюд. — Я ему сказал про лодку на Тюленьем. Он поверил. Он пойдёт со мной — в ночь перед долгом. Я приведу его к Тюленьей бухте, на берег, к лодке. Пусть ваши ждут там с сетями. Он сам придёт. Сам — к воде.

Сигга засмеялась — тихо, сухо, как трещит хворост.

— Сам к воде. Хорошо. Море любит, когда к нему сами идут.

— А моя цепь? — спросил Неклюд. — Ты обещала.

— Сделаешь — сниму, — сказала Сигга. — При всём сходе. Скажу: раб привёл морю долг — раб свободен. Так было, давно. Так будет.

Я лежал на мокром склоне у стены землянки и слушал, как человек, которому я пять недель носил хлеб, продаёт меня старухе — за цепь. Словами, которыми он меня научил. Неклюд не знал, что я понимаю по-островному всё, что он сказал. Он учил меня сам — и не заметил, как выучил.

Это была плата. Он это понимал, и я это понимал. Я платил ему хлебом за язык. Он платил мне языком — и продал меня на нём.

Я отполз от землянки в темноту и вернулся в контору раньше него.

До утра я сидел у окна и считал.

Сигга знала теперь, что я не немой. Что я читаю, считаю, говорю. Что я не даю себя трогать. Что я хотел уйти. Это было много — но этого было мало для схода: всё это можно было сказать о любом хитром чужаке. Для схода ей нужно было другое. Ей нужно было, чтобы я сам пришёл к воде — в ночь перед долгом, к Тюленьей бухте, к сетям. Сам. Чтобы весь остров сказал: море его позвало, и он пошёл.

Без Неклюда к воде меня не позовёт никто.

Был ещё один счёт, короче. Неклюд был единственным на острове, кто слышал от меня материковую речь, кроме Ратмира. Единственным, кто видел, как я отступаю от руки. Единственным, кто знал, что я понимаю по-островному, — он не знал, что знает, но однажды мог бы понять.

Живых за спиной я не оставлял.

Торфяник Хёрда был за пустошью, в той же низине, где хоронили Торда, только дальше, в стороне. Неклюд резал там торф каждое утро — плоской лопатой из китовой лопатки, — и складывал брикеты на краю, на кочках, чтобы сохли. Его привязывали там за цепь к железному колу, вбитому в твёрдое место, — на длину, чтобы доставал до среза, но не до края болота.

Я пришёл туда на рассвете, с хлебом. Кнопку я нажал, когда сошёл с пустоши в низину.

Утро было серое, сырое, тихое. Туман лежал на болоте низко, по колено, и из тумана торчали кочки с рыжей травой. Неклюд стоял по колено в яме, у среза, и резал. Увидев

меня, он выпрямился и улыбнулся — впервые за всё время, что я его знал.

— Глянь, — сказал он и показал лопатой на срез. — Вчера задел.

Из бурой стены торфа, на глубине по пояс, торчала рука. Чёрная, сморщенная, как кожаная перчатка, с ногтями, с жилами на запястье, — целая. На запястье была верёвка. Тоже целая, тоже чёрная.

— Тут их много, — сказал Неклюд. — Старые. Торф держит, не гниют. Хёрдовы говорят — это долги. Прошлых зим. Кого море не взяло до весны — тех потом в торф.

Он сплюнул в яму и засмеялся.

— Отец, — сказал он. — Рано ты. Принёс?

Я протянул ему хлеб.

Не на камень. В руки.

Он заметил это. Я видел, как он заметил: глаза его на миг остановились на моей руке, на хлебе, — пять недель я клал хлеб на камень, а сегодня протянул в руки, — и в глазах у него было удивление и, может быть, радость: старик перестал бояться, старик поверил.

Он взял хлеб. И пальцы его легли на мои.

Сто седьмой.

Он постоял — миг — с хлебом в руке. Потом медленно, тяжело сел назад, в яму, в бурую воду, и вода сомкнулась над ним по грудь, по плечи. Цепь натянулась от кола. Я наклонился, взял цепь у кольца на его ноге — железо было холод-

ное, мокрое — и потянул в сторону, к краю ямы, туда, где за срезом торф кончался и начинался бочаг — окно чёрной воды, глубокое, без дна.

Он ушёл туда весь. Цепь натянулась до кола и легла по краю бочага, как верёвка у колодца.

Хлеб плавал на воде — круглый, ячменный, светлый, единственное светлое на всём болоте. Рядом, в бурой стене среза, торчала чёрная рука с верёвкой на запястье. Теперь их в этом торфе было на одного больше.

Я выловил хлеб, бросил в туман, в кочки, и пошёл назад.

Кольцо я погасил на пустоши и проверил четыре раза.

Пятый год он думал, как пожечь их всех. Он не пожёг никого. Он только продал одного старика одной старухе — и даже этого не успел.

Неклюда нашли к полудню. Пришёл кто-то из Хёрдовых — проверить, сколько нарезано, — и увидел цепь, уходящую от кола в бочаг. Вытащили. Сбежалась половина посёлка. Говорили: утонул. Говорили: оступился, его стянуло цепью в бочаг, а цепь держит — не выплыть. Так было уже с одним рабом, с другим, во вторую зиму. Торфяник берёт.

Я стоял на краю пустоши, поодаль, и смотрел.

Сигга пришла последней. Её вёл под руку мальчишка. Она постояла над Неклюдом, лежавшим на кочках, мокрым, бурым от торфа, с цепью на ноге, — постояла, наклонив голову, будто слушала, — а потом повернула лицо через всю пустошь, через головы, ко мне. Белыми глазами. Она не могла

меня видеть. Она видела.

И сказала громко, по-островному, так, что слышали все:

— Море пьёт за него.

Род загудел и отступил от меня ещё на шаг.

Они слышали в этом то, что слышали всегда: шутку Хёрда, ставшую законом, — немой не пьёт, за него пьёт море. Они не знали, что Неклюд ночью был в её землянке. Они не знали, о чём он там говорил.

Я знал. И Сигга знала, что я знаю.

Она сказала это не им. Она сказала это мне.

Глава 7. Торф

Хёрд пришёл в контору в последнюю неделю осени.

Дни к тому времени стали короткими — светало поздно, темнело рано, и между рассветом и сумерками было часов шесть серого, сырого полусвета, когда солнце не показывалось вовсе, а только угадывалось за тучами низким бледным пятном. Бури шли одна за другой. Лодки не выходили. Янтарь после каждой бури несли мешками, и Ратмир сидел у весов с утра до темноты, а я — над книгами с темноты до утра.

Хёрд пришёл один, без сыновей, без Сигги. Поднялся в счётную — тяжело, медленно, пригибая голову под балками, — и сел напротив Ратмира, на лавку, которая под ним заскрипела. На меня он не посмотрел. Я сидел за своим столом у стены, над книгой, с пером. Немой. Счётчик. Для Хёрда — пустое место.

Они говорили по-островному. Они думали, что я не понимаю.

— Ячмень, — сказал Ратмир весело. — Ты ведь за ячменём, Хёрд.

— Я за немым, — сказал Хёрд.

— Немой мне нужен до лета. Ты знаешь.

— Долг нужен морю до солнцеворота. Ты знаешь.

Ратмир налил ему браги в рог. Хёрд выпил, не глядя.

— Возьмите другого, — сказал Ратмир. — Чужих на острове нынче много. Монах есть — старый, тот, что остался. Кожевник с бабой и с детьми. Баба с шитьём. Парень беглый. Выбирай. Я тебе за немого дам двадцать мешков. И монаха — даром.

Я писал. Перо скрипело ровно.

Хёрд долго молчал.

— Сигга говорит — море выбрало немого, — сказал он наконец. — На причале выбрало, когда он рога не выпил. На пиру выбрало, когда Торда взяло. На торфянике выбрало, когда раба взяло. Море само его метит. Монаха море не метило. Кожевника не метило.

— Сигга стара.

— Сигга видит, — сказал Хёрд.

— Тридцать мешков, — сказал Ратмир.

— Ты не слушаешь. — Хёрд наклонился к нему через стол, и стол скрипнул под его ладонями. — Пять зим море брало наш долг и давало нам корабли. Пять зим подряд, Ратмир. Ты сам платил мне за огни — с тех кораблей. Ты думаешь, это ячмень давал нам корабли? Море давало. А море берёт того, кого выбрало, а не того, кого ты ему продашь подешевле. — Он выпрямился. — Тридцать мешков я не возьму. Сорок не возьму. Сход через девять дней, в первое новолуние зимы. Сход решит.

Он ушёл.

Ратмир долго сидел, глядя на дверь, и пил. Потом посмот-

рел на меня — на мою спину, на перо — и сказал по-материковому, весело, как всегда:

— Ничего. Сход длинный. Три дня. За три дня много чего можно купить.

Я не обернулся.

Двадцать мешков ячменя — и монаха даром. Ратмир торговал мной, как янтарём, — и торговал другими за меня, как крошкой. Старого монаха, кожевника с рыжей девочкой, бабу с шитьём. Кого угодно — лишь бы весы были целы до весны.

Я посчитал дни. До схода — девять. До солнцеворота — тридцать два. До весны, когда за мной придёт корабль с чёрным вепрем, — четыре месяца. До лета, когда придёт рыжий, — семь. Каждый, кто ждал меня на этом камне, ждал своего срока: море — солнцеворота, герцог — весны, дом — лета. Срок моря был ближе всех.

Я сидел над книгой и думал не о Ратмире. Я думал о книге.

Это была первая книга — самая старая, шестилетней давности. Я сводил её последней и только теперь дошёл до её первых листов. Они были писаны не рукой Ратмира. Другой рукой — ровной, красивой, южной, с длинными хвостами у букв, какими пишут писари в Белом городе. Так было написано полгода: весна, лето, осень. Приход, отпуск, крошка — честная крошка, десятая часть, не пятая. И под каждым месяцем — подпись. Имя фактора. Южное, длинное.

А с середины осени рука менялась.

Сразу, с одного листа на другой. Вместо ровной южной — мелкая, торопливая, неряшливая. Рука Ратмира. Крошка с того листа поднималась до пятой части. А подпись под месяцем стояла та же. То же южное длинное имя — только выведенное старательно, медленно, буква за буквой, как выводит чужое имя тот, кто учился его писать.

В первый раз, когда я листал эту книгу, я подумал: писец. Фактор заболел, отдал книгу подручному, подручный пишет за него и подписывает его именем. Так бывает в конторах.

Теперь я вспомнил, как Ратмир сказал над Кари: и этот у меня не первый.

И вспомнил, что сказал мне на торфянике Неклюд, показывая на чёрную руку в срезе: кого море не взяло до весны — тех потом в торф.

Не всех в торф клал Хёрд.

На торфяник я пошёл через три дня, перед рассветом.

Мне надо было туда и без того. Мне надо было видеть долги — как их вяжут, какой верёвкой, каким узлом, на какой руке, — потому что в солнцеворот меня поведут к Долговому камню, если Ратмир не купит сход, — а сход, сказал Хёрд, не ячмень. Я хотел знать, что будет на мне, прежде чем это будет на мне.

Ночь была тихая — редкая для этой осени, — без ветра, с инеем. Небо впервые за много дней расчистилось, и над пустошью стояли звёзды — крупные, белые, низкие, какие бывают только над морем. Я нашёл неподвижную над полуно-

чью и по ней пошёл, не глядя под ноги. Привычка. Посёлок за спиной спал. Овцы на крышах лежали тёмными комками. Пустошь хрустела под сапогами. Низина с торфяником лежала в тумане, и туман был белый, неподвижный, как молоко в миске. Я нашёл кол, к которому привязывали Неклюда, — он торчал из кочки, и обрывок цепи висел на нём, — и рядом, в яме, лопату из китовой лопатки, брошенную, видно, тем, кто вытаскивал Неклюда.

Я взял лопату и спустился в яму, к срезу.

Работа была тяжёлая, не для моих лет и не для моих рук. Лопата из китовой лопатки была широкая, тупая, скользкая от инея; торф шёл пластами, мокрыми, тяжёлыми, как сырое мясо, и каждый пласт надо было поддеть, отрезать, вынуть и положить на край. Через десять пластов ладони мои горели. Через двадцать — пошли волдыри. Пахло болотом, гнилой травой, железом. Пар шёл у меня изо рта, и пот под кафтаном стыл.

Чёрная рука торчала там же, где он мне показал. Я стал резать торф вокруг неё — пласт за пластом, как резал Неклюд, — и через полчаса открыл всего.

Мужчина. Лежал на боку, поджав ноги, как спят. Кожа — чёрная, блестящая, натянутая на кости, как кожа на барабане. Лицо — целое: нос, губы, веки, щетина на щеках, даже ресницы. Волосы — рыжие от торфа. На запястьях — верёвка, связывающая руки спереди. Ещё одна — на шее, обрезанная. На нём была рубаха из грубой материковой холсти-

ны, истлевшая только по швам.

Долг. Чей-то, давний. Море не взяло его до весны — и его сняли с камня и положили в торф.

Я резал дальше. Срез уходил вглубь, и за первым был второй — женщина, в платке, тоже с верёвкой на запястьях, с открытым ртом. За второй — третий, мальчишка, лет пятнадцати, на нём верёвки не было, а голова была разбита — с одного бока, как бьют камнем. Хилый, выплывший. За ним — ещё. Я перестал считать на девяти.

Узлы на всех были одинаковые — я наклонялся к каждому и смотрел. Простой морской узел, петлёй, такой, что затягивается сам под тяжестью: чем сильнее тянет тело, тем крепче держит. Развязать его на руках, связанных спереди, нельзя. Порвать — нельзя: верёвка была ременная, из тюленьей кожи, толщиной в палец. Только резать. А резать нечем: нож у долга отбирали — у первого, рыжего, ножны на поясе были пустые.

Я запомнил всё. Узел, верёвку, руки спереди. Пустые ножны.

Среди них были и такие, как я. Не выплывшие — приплывшие. У одного на поясе висел кошель — пустой, распоротый, — а на ногах были материковые сапоги, хорошие, городские. Гость. Кто-то, кто сошёл на этот берег с Серой гусыни, выпил из гостевого рога и прожил здесь до первой зимы. Его кормили.

Торф держал всех. Целыми. Как живых. Гест говорил на

корабле: на острове помирать хорошо, лежишь целый, как живой. Он говорил о своих. Чужие лежали так же.

Последнего я нашёл в другом месте — не в срезе, а в стороне, в старой, заросшей яме у самого бочага, где торф резали давно и бросили. Я бы не нашёл его, если бы не сапог. Сапог торчал из кочки — кожаный, материковый, с медной пряжкой. Островитяне таких не носят.

Я откопал его.

Он лежал на спине, вытянувшись, как кладут в могилу, а не как бросают в бочаг. Торф сделал с ним то же, что со всеми: чёрная кожа, целое лицо. Только лицо было другое — не островное и не северное. Узкое, смуглое даже сквозь черноту торфа, с горбатым носом, с маленькой чёрной бородкой, подстриженной на южный лад. Одежда — сукно, хорошее, тёмное, с серебряными пуговицами. Пояс с пустыми ножнами. Верёвок на нём не было.

На спине, под левой лопаткой, сукно было разрезано — коротко, ровно, на ширину лезвия. И под разрезом, в чёрной коже, была дыра.

Его не отдавали морю. Его не били камнем на отливе. Его ударили ножом в спину — один раз, умело, — и закопали здесь, в старой яме, поодаль от долгов, чтобы никто, режущий торф, никогда сюда не дошёл.

На среднем пальце правой руки у него был перстень. Тяжёлый, серебряный, с печаткой. Я стёр с печатки торф большим пальцем.

Круг и три черты.

Так носили перстни факторы дома — знак, который ставят на воск вместо подписи. У старого Ведмара печать была медная, в ларце, у этого — на пальце. Фактор, которого дом посадил на Западных островах шесть лет назад. Южанин, с ровной, красивой рукой и с длинным южным именем, которое теперь медленно, буква за буквой, выводил под каждым месяцем Ратмир.

Ратмир был у него подручным. Это я понял, ещё не встав с колен. Подручный, который ездил с фактором на край света, — писал за него, ходил к весам, пил с Хёрдом, учил язык. Через полгода подручный ударил хозяина ножом в спину, закопал в торфе и сел на его место. И написал дому его именем. И пишет шестой год. Дом думает, что на островах сидит южанин, честный, с красивой рукой, — только постарел, и рука испортилась. А на островах сидит человек, который носит чужое имя.

Как я носил всю зиму имя рыжего мальчишки, лежавшего в горячке.

И ещё я понял, что держу в руке. Летом придёт ревизор — рыжий молодой Ведмар, сестрин сын старого Ведмара. Дом Ведмаров — один большой род, как Хёрдов, только по всему побережью; фактор на краю света — не чужой человек, а свой, южный, посланный старым домом, может быть, знакомый рыжему с детства. Рыжий приедет, увидит Ратмира и спросит: где фактор? И Ратмир скажет: умер, утонул, —

и рыжий спросит: а кто же шесть лет подписывал книги его именем?

Перстень мёртвого фактора был ножом. Не для Ратмира — для того, кто покажет его рыжему. Или Ратмиру.

Я стоял на коленях в старой яме над мёртвым фактором и думал, что на этом камне посреди моря нас таких двое. И что второй собирается продать первого — за то самое, что делал сам.

— Эй!

Голос был сверху, с края ямы. Островной. Я поднял голову.

На краю стоял человек — островитянин, немолодой, сутулый, с бородой, перевязанной шнурком, с лопатой из китовой лопатки на плече. Я знал его в лицо: он приносил янтарь от рода с южного мыса и всегда спорил у весов дольше всех. Торфяник. Пришёл резать торф на рассвете — на свой срез, рядом, — и увидел в тумане старика, стоящего на коленях в старой яме над откопанным мертвецом.

Он смотрел на меня, на мертвеца, на перстень в моих пальцах. Лицо у него было белое.

— Ты, — сказал он по-островному. И ещё что-то, быстро, — я разобрал: могила, чужой, Сигга.

Он побежал.

Не прочь — к посёлку. Через кочки, по пустоши, с лопатой на плече, — он бежал туда, где люди, где Хёрд, где Сигга, — рассказать, что немой копается в торфе у мёртвых.

Кнопку я нажал ещё на пустоши, когда шёл сюда. На болоте ночью человек может встретить кого угодно.

Он бежал по кочкам. Кочки были скользкие от инея. На третьей он поскользнулся, упал, выронил лопату. Вскочил. Упал снова — подвернулась нога, — и пополз, оглядываясь на меня.

Я шёл за ним по кочкам. Не бегом — шагом. Старик на болоте не бегает. Ему и не надо: кочки держат того, кто идёт медленно, и бросают того, кто бежит.

Я догнал его у края низины. Он лежал на кочке, держась за ногу, и смотрел на меня снизу. Он не кричал. Он закрылся руками.

Я наклонился и взял его за руку.

Сто восьмой.

Я отволок его к бочагу — к тому, где лежал Неклюд, — и столкнул в чёрную воду. Лопату бросил рядом, на край среза: торфяник пришёл до света резать, поскользнулся на инее, упал в бочаг. Торфяник берёт.

Мёртвого фактора я закопал обратно. Пласт за пластом, как было. Срез с долгами — тоже. Перстень оставил себе. Он был тяжелее медной печати старого Ведмара — серебро, — и, пока я закапывал, он грелся у меня в кулаке, как живой.

Погасил кольцо на пустоши и проверил четыре раза.

Торфяника найдут к полудню, как нашли Неклюда. Двое за десять дней в одном бочаге. Островитяне скажут: торфяник берёт. Сигга скажет другое. Но Сигга скажет это так, как

говорит всегда, — про море, — а море на этом камне не судят.

Когда я поднялся к конторе, уже светало. Ратмир стоял на крыльце, с рогом, в тюленьей куртке, и смотрел на залив. Он увидел меня — и перевёл взгляд на мои сапоги. На них был торф. Бурый, мокрый, по самые голенища.

— Гулял? — спросил он весело.

Глаза у него при этом были не весёлые. Они смотрели на торф на моих сапогах так, как смотрят у весов на чашу: сколько тут, откуда, и не тронул ли кто гири.

Я прошёл мимо него в дом, наверх, в каморку, и задвинул засов.

Перстень я положил на ладонь рядом с медной печатью старого Ведмара — круг и три черты на обоих. Две печати дома Ведмаров. Обе — с мёртвых. Один — убит отравой по слову человека, который сгорел на площади. Второй — ножом в спину человеком, который стоял сейчас внизу на крыльце и пил брагу.

Я носил при себе уже двух мёртвых факторов дома. Ратмир этого не знал. Ратмир не знал и того, что я знаю, чьё имя он носит.

До схода оставалось шесть дней.

Глава 8. Птичья скала

За четыре дня до схода Хёрд повёл род на последний птичий промысел.

Последний — потому что дальше начиналась зима, и птица уходила со скал в море, и скалы пустели до весны. Последний промысел был в обычае: что возьмут в этот день, то род будет есть в солнцеворот, на пиру долга. Птицу били, сушили, солили в бочках, яйца — последние, поздние — пекли в золе. Звали всех, кто держит верёвку.

Позвали и немого.

Позвал не Хёрд. Позвал его средний сын, Эйвинд, — пришёл к конторе утром, встал у крыльца, широкий, светлый, с бородой, ещё не отросшей до кос, и крикнул наверх, в окно счётной, по-островному, весело и громко, чтобы слышал весь склон:

— Немой! Хватит янтарь считать! Иди верёвку держать! Или боишься высоты? Море тебя на скале не достанет!

Внизу, у причала, засмеялись.

Ратмир, сидевший напротив меня с рогом, перевёл мне — по-материковому, тихо, хотя я понял всё и без него, — и добавил:

— Иди. Не пойдёшь — скажут: боится. Чего боится? Моря? Значит, морской. Сигга только того и ждёт.

Я пошёл.

По дороге, на склоне, Ратмир догнал меня и пошёл рядом — на три шага, как я хожу со всеми.

— Через четыре дня сход, — сказал он вполголоса, по-материковому. — Я был у Хёрда вчера. Сорок мешков и монаха. Он не взял. Я был у других родов — у южного мыса, у Тюленьего. Им ячмень нужнее моря. Двое скажут на сходе против долга, если я дам. Я дам. — Он помолчал. — Только ты мне сегодня на скале ничего не сделай. Ничего. Слышишь? Держи свою верёвку, смотри на птиц и молчи. Ты же немой.

Он отстал и пошёл назад, к конторе, не дожидаясь ответа.

Птичья скала стояла у входа в залив, на мысу, и поднималась из моря стеной — чёрной, отвесной, в полверсты высотой. Сверху, с её плоской вершины, поросшей жёсткой травой, видно было весь остров: залив, посёлок, пустошь, торфяник в низине, Тюлений остров на полудне — серым горбом в море — и само море, во все стороны, серое, в белых гребнях. Ветер на вершине был такой, что приходилось стоять, наклонившись, как стоят против течения. Внизу, под обрывом, ревело и кипело.

С вершины был виден и Долговой камень. Я нашёл его сам, без подсказки, — за скалой, с морской стороны, у подножия, там, где отлив открывал плоскую каменную отмель, длинную, скользкую, в зелёной бороде водорослей. На краю отмели, у самой воды, стоял камень — один, торчком, высотой в человека, чёрный, как гнилой зуб. В отлив к нему

можно было подойти посуху. В прилив вода стояла над ним с головой. На камне, у вершины, белело что-то, — может быть, птичий помёт, а может быть, обрывок ремня, который не успело взять море.

Я смотрел на него долго. Потом отвернулся.

Птица сидела на уступах стены — по всей её высоте, рядами, как в амбаре на полках. Чёрно-белые, с толстыми клювами; серые, гладкие; белые, крикливые. Когда на вершину поднялся род, птица заорала и снялась тысячами — и закрыла небо, и кружила над скалой, и кричала так, что не слышно было собственного голоса.

Как берут птицу со скалы, я видел впервые.

На краю обрыва, через каждые двадцать шагов, из земли торчали камни — валуны, вросшие в скалу, гладкие с одного бока, как бока у старой коровы. Их звали быками. Через быка перебрасывали верёвку — длинную, ременную, из тюленьей кожи, толщиной в два пальца, — и один конец её обвязывали вокруг пояса и под мышками у того, кто шёл вниз, а другой держал тот, кто оставался наверху. Бык держал вес — верёвка тёрлась о камень, и трение камня держало почти всё, — а человек наверху только травил верёвку понемногу и выбирал назад, по крику снизу.

Внизу, на уступах, человек на верёвке ходил по стене, как муха, — от уступа к уступу, раскачиваясь, отталкиваясь ногами, — и бил птицу палкой с петлёй, и собирал яйца в мешок на груди. Палки у них были короткие, из плавника, дра-

гоценные. Верёвки — свои, родовые, у каждого двора своя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.